

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА *Р* БОЛЬШИЕ КНИГИ

Аркадий и Георгий
Вайнеры

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ

« А З Б У К А »



Русская литература. Большие книги

Георгий Вайнер

**Место встречи изменить
нельзя. Гонки по вертикали**

«Азбука-Аттикус»

1974, 1975

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Вайнер Г. А.

Место встречи изменить нельзя. Гонки по вертикали /
Г. А. Вайнер — «Азбука-Аттикус», 1974, 1975 — (Русская
литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-22143-7

«Место встречи изменить нельзя», бестселлер классиков российской литературы братьев Вайнеров об оперативных сотрудниках Московского уголовного розыска (МУРа) и их борьбе с преступниками, в особом представлении не нуждается. Эта легендарная книга (1975) стала событием в литературной жизни страны, покорила миллионы читателей, а снятый по ней телефильм (1979) обрел всенародную любовь многих поколений зрителей. Тема этического противостояния Жеглова и Шарапова, таких непохожих друг на друга напарников-соперников, актуальна и сегодня. А вечная мечта человечества – Эра Милосердия, которой посвящен роман, по-прежнему волнует читателей во всем мире. Роман «Гонки по вертикали» (1974) тоже был успешно экранизирован. В фильме 1982 года сыграли такие звезды нашего кинематографа, как Андрей Мягков и Валентин Гафт. В картине сохранилась главным образом сюжетная канва: история противостояния следователя Стаса Тихонова и вора Лехи Дедушкина по кличке Батон. В книге за этой прямолинейной формулой живут два далеко не схематичных героя-антагониста со своими сомнениями, отчаянием, одиночеством. Встретятся читатели и со знаменитым героем из романа «Место встречи изменить нельзя» – Шараповым, ставшим теперь подполковником МУРа.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-22143-7

© Вайнер Г. А., 1974, 1975

© Азбука-Аттикус, 1974, 1975

Содержание

Место встречи изменить нельзя	7
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Аркадий и Георгий Вайнеры Место встречи изменить нельзя. Гонки по вертикали



© А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер (наследники), 1974, 1975

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

Место встречи изменить нельзя

В учреждения и на предприятия требуются: старшие бухгалтеры, инженеры и техники-строители, инженеры-механики, инженеры по автоделу, автослесари, шоферы, грузчики, экспедиторы, секретари-машинистки, плановики, десятники-строители, строительные рабочие всех квалификаций...

Объявление

– А ты пока сиди, слушай, набирайся опыта, – сказал Глеб Жеглов и сразу позабыл обо мне; и чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я отодвинулся к стене, украшенной старым выгоревшим плакатом: «Наркомвнуделец! Экономя электричество, ты помогаешь фронту!»

Фронта давно уже не было, но электричество приходилось экономить все равно – лампочка и сейчас горела вполнакала. Серый сентябрьский день незаметно перетекал в тусклый мокрый вечер, желтая груша стосвечовки дымным пятном отсвечивала в сизой измороси оконного стекла. В кабинете было холодно: из-под верхней овальной фрамуги, все еще заклеенной крест-накрест белыми полосками, поддувало пронзительным едким холодком.

Я не обижался, что они разговаривают так, словно на моем венском стуле с нелепыми рахитичными ножками сидит манекен, а не Шарапов – их новый сотрудник и товарищ. Я понимал, что здесь не просто уголовный розыск, а самое пекло его – отдел борьбы с бандитизмом и в этом милом учреждении некому, да и некогда заниматься со мной розыскным ликбезом. Но в душе оседала досадливая горечь и неловкость от самой ситуации, в которой мне была отведена роль школяра, пропустившего весь учебный год и теперь бестолково и непонятливо хлопающего ушами, тогда как мои прилежные и трудолюбивые товарищи уже приступили к решению задач повышенной сложности. И от этого я бессознательно контролировал все их слова и предложения, пытаясь найти хоть малейшую неувязку в рассуждениях и опрометчивость в выводах. Но не мог: детали операции, которую они сейчас так увлеченно обсуждали, мне были неизвестны, спрашивать я не хотел, и только из отдельных фраз, реплик, вопросов и ответов вырисовывался смысл задачи под названием «внедрение в банду».

Вор Сенька Тузик, которого Жеглов не то припугнул, не то уговорил – этого я не понял, – но во всяком случае этот вор пообещался вывести на банду «Черная кошка». Он согласился передать бандитам, что фартовый человек ищет настоящих воров в законе, чтобы вместе сварганить миллионное дело. Для внедрения в банду был специально вызван оперативник из Ярославля: чтобы ни один человек даже случайно не мог опознать его в Москве. А сегодня утром позвонил Тузик и сказал, что фартового человека будут ждать в девять вечера на Цветном бульваре, третья скамейка слева от входа со стороны Центрального рынка.

Оперативник Векшин, который должен был сыграть фартового человека, мне не понравился. У него были прямые соломенные волосы, круглые птичьи глаза и голубая наколка на правой руке: «Вася». Он изо всех сил старался показать, что предстоящая встреча его нисколько не волнует, и бандитов он совсем не боится, и что у себя в Ярославле он и не такие дела проворачивал. Поэтому он все время шутил, старался вставить в разговор какие-то анекдотики, сам же первый им смеялся и, выбрав именно меня – как новенького и безусловно еще менее опытного, чем он сам, – спросил:

– А ты по фене ботаешь?

А я командовал штрафной ротой и повидал таких уркаганов, какие Векшину, наверное, и не снились, и потому свободно владел блатным жаргоном, но сейчас говорить об этом было

неуместно – вроде самохвальства, – и я промолчал, а Векшин коротко всохотнул и сказал Жеглову:

– Вы не сомневайтесь, товарищ капитан! – И мне послышался в его мальчишеском голосе звенящий истеричный накал. – Все сделаю в лучшем виде! Оглянуться не успеют, как шашка прыгнет в дамки!

От долгой неподвижности затекла нога, я переменял позу, венский стул подо мной пронзительно закрипел, и все посмотрели на меня. Но поскольку я сидел, по-прежнему каменно молча, то все снова повернулись к Векшину, и Жеглов, рубя ладонью стол, сказал:

– Ты запомни, Векшин: никакой самодеятельности от тебя не требуется: не вздумай лепить горбатого – изображать вора в законе. Твоя задача проста, ты человек маленький, лопушок, шестерка на побегушках. Тебя, мол, отрядили выяснить – есть ли с кем разговаривать? Коли они согласны брать сберкассу, где работает твоя баба-подводчица, то придет с ними разговаривать пахан. Ищите связи потому, что вас, мол, мало и в наличии только один ствол...

– А если они спросят, почему сразу не пришел пахан? – Круглые сорочки глаза Васи Векшина горели, и он все время потирал одна о другую красные детские ладони, вылезавшие вместе с тонкими запястьями далеко из рукавов мышинного кургузого пиджачка.

– Скажешь, что пахан их не глупее, чтобы соваться как кур в ощи́п: откуда вам знать, что с ними не придет уголовка? А сам ты, мол, розыска не боишься, поскольку на тебе ничего особого нету и про дело предстоящее при всем желании рассказать никому ничего не можешь – сам пока не в курсе...

Лицо у Жеглова было сердитое и грустное одновременно, и мне казалось, что он тоже не уверен в парнишке. И неожиданно мне пришла мысль предложить себя вместо Векшина. Конечно, я первый день в МУРе, но, наверное, уж все, что этот мальчишка может сделать, я тоже сумею. В конце концов, даже если я провалюсь с этим заданием и бандит, вышедший на связь, меня расшифрует, то я смогу его, попросту говоря, скрутить и живьем доставить на Петровку, 38. Ведь это тоже будет совсем неплохо! Перетаскав за четыре года войны порядочно «языков» через линию фронта, я точно знал, как много может рассказать захваченный врасплох человек. В том, что его, этого захваченного мною бандита, удастся «разговорить» в МУРе, я совершенно не сомневался. Поэтому вся затея, где главная роль отводилась этому желторотому сосунку Векшину, казалась мне ненадежной. Да и нецелесообразной.

Я снова качнулся на стуле (он пронзительно взвизгнул – дурацкий стульчик, на гнутой спинке которого висела круглая жестяная бирка, похожая на медаль) и сказал, слегка откашлявшись:

– А может, есть смысл захватить этого бандита и потолковать с ним всерьез здесь?

Все оглянулись на меня, мгновение в кабинете стыла недоуменная тишина, расколовшаяся затем оглушительным хохотом. Заходил тонким фальцетом Векшин, мягко похихатывал баритончиком Жеглов, лениво раздвигая заветренные губы, сбрасывал ломти солидного сержантского смеха Иван Пасюк, вытирал под толстыми стеклами очков выступившие от веселья слезы фотограф Гриша...

Я не спеша переводил взгляд с одного лица на другое, пока не остановился на Жеглове; и тот резко оборвал смех, и все остальные замолчали, будто он беззвучно скомандовал: «Смирно!» Только Векшин не смог совладать с мальчишеской своей смешливостью и хихикнул еще пару раз на разгоне...

Жеглов положил руку мне на плечо и сказал:

– У нас здесь, друг ситный, не фронт! Нам «языки» без надобности...

И я удивился, как Жеглов точно угадал мою мысль. Конечно, лучше всего было бы промолчать и дать им возможность забыть о моем предложении, которое, судя по реакции, показалось им всем вопиющей глупостью, или нелепостью, или неграмотностью. Но я уже завелся,

а заводясь, я не впадаю в горячее возбуждение, а становлюсь упорным, как танк. Потому и спросил, спокойно и негромко:

– А почему же вам «языки» без надобности?

Жеглов повертел папироску в руках, подул в нее со свистом, пожал плечами:

– Потому что на фронте закон простой: «язык», которого ты приволок, – противник, и вопрос с ним ясный до конца. А бандита, которого ты скрутишь, только тогда можешь назвать врагом, когда докажешь, что он совершил преступление. Вот мы возьмем его, а он нас пошлет подальше...

– Как это «пошлет»? Он на то и «язык», чтобы рассказывать, чего спрашивают. А доказать потом можно, – убежденно сказал я.

Жеглов прикурил папироску, выпустил струю дыма, спросил без нажима:

– На фронте, если «язык» молчит, что с ним делают?

– Как что? – удивился я. – Поступают с ним, как говорится, по законам военного времени.

– Вот именно, – согласился Жеглов. – А почему? Потому что он солдат или офицер вражеской армии, воюет с тобой с оружием в руках, и вина его не требует доказательств...

– А бандит без оружия, что ли? – упирался я.

– На встречу вполне может прийти без оружия.

– И что?

– А то. В паспорте у него не написано, что он бандит. Наоборот даже – написано, что он гражданин. Прописка по какому-нибудь там Кривоколенному, пять. Возьми-ка его за руль двадцать!

– Если всерьез говорить, то крупный преступник сейчас много хуже фашиста, – сказал, вращая круглыми желто-медовыми бусинками глаз, Векшин. – Вот с этим самым паспортом он грабит и убивает *своих*! Хуже фашистов они! – повторил он для убедительности.

«Много ты про фашистов знаешь!» – подумал я, но говорить ничего не стал, поняв уже, что сделал глупость, вступив в спор: теперь уже не осталось никаких шансов – после того как я проявил такую неграмотность, – что меня могут послать вместо Векшина на встречу с бандитами.

И совещание скоро закончилось. Время тянулось невыносимо медленно. Жеглов дал мне талон на обед, и все сходили в столовую на первом этаже, кроме Векшина, который на всякий случай из жегловского кабинета не выходил, и ему принесли полбуханки хлеба и банку тушенки, и он все это очень быстро уписал, запивая водой из графина и облизывая худые пальцы в заусеницах. Рядом с неровными буквами «Вася» на руке у него была россыпь цыпок, и, глядя на них, я почему-то вспомнил мальчишескую примету, будто цыпки вырастают, если в руки берешь лягушек. «Пацан еще, – подумал я снисходительно, уже простив Векшина за его высокомерные наскоки. – Совсем пацан».

Тогда я еще не знал, что на счету у «пацана» значились не только три десятка изловленных воришек, но и грабительская шайка Яши Нудного, повязанная благодаря исключительному умению Векшина влезть в душу уголовника.

– У тебя оружие с собой? – спросил его Жеглов.

– А как же! – Векшин приподнял полу своего люстринового пиджачишка и похлопал ладонью по кобуре револьвера. – Я без него никуда.

Жеглов ухмыльнулся:

– Надо будет его оставить. Он тебе там ни к чему...

– Неужели нет?.. – ответно ухмыльнулся Векшин и отстегнул кобуру.

Тягуче сочилось время, капали ленивые минуты, и, если бы позеленевший медный маятник не качался монотонно в длинной коробке стенных часов, можно было бы подумать, что они остановились навсегда. Дождь дудел в окно, как в сломанную губную гармошку, невыносимо однообразно: «бу-бу-бу», пугающе-яростно прокричала на улице «скорая помощь», шаркали

и неровно топотали в коридоре тяжелые шаги, и в половине девятого, когда Жеглов, встав, сказал: «Всё, пошли!» – все вскочили, шумно завозились, натягивая плащи и кепки, затолпились на миг перед дверью. Жеглов щелкнул выключателем, и желтую слабую колбочку лампы словно раздавила прыгнувшая из углов тьма, и в этой чернильной мгле невидимая тарелка радиодинамика прошелестела своим картонным горлом нам вслед: «Московское время – двадцать часов тридцать минут. Передаем романсы и арии из опер в исполнении заслуженной артистки РСФСР Пантофель-Нечецкой...»

В Колобовском переулке Векшин ушел вперед, а мы шли за ним метрах в ста, потом и мы растянулись; и, когда Вася занял скамейку на Цветном бульваре, третью слева от входа со стороны Центрального рынка, одиноко стоявшую в просвете между кустами, далеко видную со всех сторон, мы с Жегловым пристроились у закрытой москательной лавочки, за будкой чистильщика, заколоченной толстой доской.

Отсюда нам был виден тщедушный силуэт Векшина, сторбившегося на скамейке под холодным морозящим сентябрьским дождиком. Гость, которого все ждали, появиться незаметно не мог, да и уйти незаметно ему не предвиделось. Прохожих почти совсем не стало на улице. Подсвеченный изнутри синими лампами, проехал трамвай. Я взглянул на свои трофейные часы со светящимся циферблатом и шепнул Жеглову:

– Четверть десятого...

Жеглов сильно сжал мне руку, и я увидел, что рядом с Векшиным остановился высокий мужчина, постоял немного и уселся рядом. Я никак не мог сообразить, откуда тот взялся: все подходы просматривались, и он не мог подойти незамеченным. Я взглянул на Жеглова, и тот шепнул совсем тихо, будто бандит мог его услышать отсюда:

– С трамвая на ходу спрыгнул...

Не мог потом я вспомнить, сколько прошло времени, ибо в эти не очень долгие минуты все кипело во мне от досады и возмущения: вот он сидит, бандит, в ста шагах, протяни руку – и можно взять за шиворот, а надо сидеть почему-то здесь, за будкой, затаившись, говорить шепотом, изнемогая от нетерпения узнать, как с ним договорится Векшин.

От Трубной площади со звоном и скрежетом приближался трамвай, и я подумал, что, когда вагоны поедут мимо нас, на какой-то миг мы потеряем из виду Векшина с бандитом. Но бандит вдруг встал, похлопал Васю по плечу, и мне показалось, будто он пожал Векшину руку, потом повернулся, перепрыгнул через железную ограду бульвара и, пробежав несколько шагов рядом с грохочущим и дребезжащим вагоном, ловко прыгнул на подножку. Красные хвостовые огни уносились к Самотеке, а Вася спокойно сидел на скамейке.

Прошло пять минут, а Векшин почему-то не хотел уходить отсюда. Жеглов протяжно и тоненько свистнул, но Вася и головы не повернул...

– Может, они договорились, что еще кто-нибудь подойдет? – предположил я.

Жеглов только пожал плечами.

Прошло еще десять минут, мы поднялись и медленно пошли в сторону Векшина, по-прежнему сидевшего спокойно и неподвижно. Когда мы подошли к нему вплотную, то я, переживав на войне много всякого, сразу понял, что Вася мертв. Он смотрел на нас широко открытыми круглыми глазами, на реснице повисла слезка, маленькая, прозрачная, и тонкая струйка крови сочилась из угла рта. Длинный нож-«заточка» вошел прямо в сердце, он пробил насквозь все его худенькое мальчишеское тельце и воткнулся в деревянную спинку скамейки; и потому Вася сидел прямо, как примерный ученик на уроке, и сразу стал он такой маленький, беззащитный и непоправимо, навсегда обиженный, что у меня мороз прошел по коже.

– Расколол его бандит проклятый! – глухо сказал Жеглов.

– Это нам за него надо головы расколоть, – сказал я и, повернувшись к онемевшему Пасюку, велел: – Вызывай «скорую».

Юридический факультет Московского ордена Ленина государственного университета им. Ломоносова объявляет, что 10 октября 1945 года в 18 часов на заседании Ученого совета состоится публичная защита диссертации Евсиковым Х. П. на тему: «Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук.

Объявление

Вернулись на Петровку мы около полуночи, и Жеглов сразу отправился по начальству. Расселись в кабинете так же, как три с половиной часа назад: Пасюк – в углу на продавленном пыльном кресле, Коля Тараскин – на мрачно блестящем дерматиновом диване с откидными валиками, фотограф Гриша – на подоконнике, откуда все время дуло, фотограф чихал, но с подоконника почему-то слезать не хотел, а я – на своем венском стульчике с медалью ХОЗУ.

Только Васи Векшина не было. И хотя стул Жеглова за обшарпанным канцелярским столом тоже пустовал, но по разбросанным бумажкам, сдвинутым чернильницам, открытым папкам было ясно, что хозяин куда-то выскочил на минуту и скоро явится на свое место. А Векшин пробыл здесь слишком мало, чтобы оставить хоть какой-то, пускай самый маленький, следок в этом и так безликом служебном помещении. И от этого казалось, будто он и не приходил сюда и не было подготовки к операции и спора насчет взятия «языков», не смеялся он здесь тонким мальчишеским голосом. Но на окне еще стояла банка из-под американской тушенки, которую Векшин ел несколько часов назад, облизывая худые пальцы в цыпках. И за бронированной дверцей сейфа лежала его кобура с револьвером.

Я сидел, прикрыв ладонью глаза, и меня не покидало воспоминание, как носилки с уже застывающим Васиным телом вкатили в «скорую помощь», люк машины, белый, с толстым красным крестом, захлопнулся с глухим лязгом, будто проглотил свою добычу, и ЗИС, жадно урча, помчался прочь, обдав нас сладким дымком непрогоревшего бензина.

Место преступления не фотографировали, не описывали, ничего не измеряли и протокола не составляли, а в моем представлении это были основные действия уголовного розыска, и потому, что ими сейчас пренебрегли, в меня снова вошло это ощущение войны, где не было места никаким формальностям и процедурам.

Я медленно думал о том, что Вася Векшин погиб как на фронте, и то, что не стал Жеглов на Цветном бульваре под ночным противным дождем разворачивать уголовное представление с протоколом, осмотрами, фотографированием сбоку, сверху, крупным планом, в глубине души считал правильным. Обязательно собралась бы толпа зевак, и тогда, казалось мне, смерть Васи была бы чем-то унижена, словно он не разведчик, погибший в бою, а какой-то беззащитный прохожий, несчастный потерпевший, а мы сами – Жеглов, Пасюк, Тараскин и остальные, – суемся около Васиного тела на глазах прохожих, казались бы им необычайно сильными, смелыми муровцами, которые уж наверняка не попали бы под нож бандита, а наоборот, бесстрашно ловят его, в то время как этот бедолага не смог защититься.

Я ушел на фронт мальчишкой и весь свой жизненный опыт приобрел на войне. И наверное, поэтому смотрел на мир глазами человека, у которого в руках всегда есть оружие; и от этого безоружные мирные люди невольно казались мне слабыми и всегда нуждающимися в защите. И Вася Векшин, который сознательно хотел сделать беззащитность своим оружием, не должен был, с моей точки зрения, становиться поводом для сочувственных или испуганных вздохов толпы случайных прохожих, а поскольку нельзя было этим людям крикнуть, что он умер, приняв в себя нож, который, в сущности, был направлен в них всех, то надлежало, забрав тело товарища, уйти, чтобы без лишних слов, клятв и обещаний сделать все нужное, что на войне полагается, дабы воздать достойно за все...

В общем, так оно и получилось. Только когда приехала карета «скорой помощи», Жеглов отодвинул на один шаг молодую врачиху в накинута на плечи шинели, бормотнул быстро: «Одну минуточку, доктор», снял с себя шарфик, очень осторожно обернул им ручку ножа и резко выдернул его из раны. Врачиха с оторопью посмотрела на него, а Жеглов протянул Пасюку завернутый в шарф нож и сказал:

– Держи аккуратно, Иван, на ручке, может быть, «пальцы» остались...

А сейчас Жеглов ходил по начальству докладывать о провале операции. И хотя я никого из начальников на Петровке не знал, но легко представлял себе, каково сейчас достается Жеглову...

Текли минуты, часы. Коля Тараскин задремал на диване, и сны ему снились, наверное, неприятные, потому что он еле слышно постанывал, тоненько и протяжно: «ой-ой-ой...» Пасюк расстелил на столе газету и, разобрав свой ТТ, смазывал каждую детальку. Гриша невесту насвистывал что-то. Я выпрямился на стуле, спросил у Пасюка:

– А что это за банда такая – «Черная кошка» эта самая?

Пасюк поднял на меня прозрачные серые глаза, пошевелил бровями, сказал медленно:

– Банда. – Помолчал, добавил: – Банда – вона и есть банда. Убийцы та грабители. Сволочь отпетое. Поймаем, бог даст, уси под «вышака» пойдут. Тебе вон Шесть-на-девять пусть лучше расскажет, он говорун у нас наиглавный...

Фотограф, видимо, уже привык к своему необычному прозвищу, или мнение Пасюка его мало волновало, или желание рассказать было в нем сильно, но, во всяком случае, Пасюку он ничего не ответил, только рукой махнул на него и протянул презрительно:

– Ба-а-нда – она и есть ба-а-нда! Она ни на одну другую банду не похожа, потому нам и поручено ее разрабатывать...

– Особо тоби, – разлепил в усмешке заветренные узкие губы Пасюк. – На тебя сейчас уся надежда...

А фотограф сказал мне:

– Банду эту второй год ищут, а выйти на след не удастся. Был бы я Лев Шейнин – обязательно об этом деле книгу бы написал!

– А о чем же писать, коли следов никаких нет? – поинтересовался я.

– Нет, так будут! – уверенно сказал Шесть-на-девять. – Хотя, конечно, увертливые они, гады. Грабят зажиточные квартиры, продовольственные магазины, склады, людей стреляют почему зря. И где побывали, или углем кошка нарисована, или котенка живого подбрасывают.

– А зачем? – удивился я.

– Для бандитского форсу – это они вроде бы смеются над нами, почерк свой показывают...

Распахнулась дверь, вошел Жеглов, мы все повернулись к нему, и он сказал:

– Значитца, так: ты, Пасюк, завтра с утра поедешь с телом Векшина в Ярославль, от нас всех проводишь его в последний путь, мать его постарайся успокоить. Хотя какое, к чертям собачьим, тут придумаешь успокоение!

Лицо у него было черное, подсохшее, будто опаленное, и камнями ходили желваки на скулах.

Пасюк вытер жирные от ружейного масла пальцы о лоскут газеты, аккуратно свернул его и бросил в корзину, встал, коротко сказал:

– Есть, будет сделано...

– Вы, Тараскин и Шарапов, со мной завтра дежурите в группе по городу.

– А я? – обиженно спросил Гриша Шесть-на-девять. – А я что буду делать?

– Ну и ты с нами, конечно, куда ж тебя девать? Всем спать, немедленно.

Сон был неплотен и зыбок, как рассветный туман, и, лишь на мгновение, кажется, прикрыв глаза, я испуганно вскочил на кровати – показалось, что я проспал. В комнате темно и очень холодно, и мне жаль было вылезать из нагретой за ночь постели. Я вытащил из-под одеяла руку и посмотрел на мерцающий зеленым светом циферблат: стрелки плотно слиплись на половине седьмого. Я досадливо крикнул – пропало полчаса сна; и я подумал о том, что утрачиваю фронтową привычку спать до упора, используя каждую свободную минуту, возмещая вчерашний недосып и стараясь хоть миг вырвать у завтрашнего.

Со стула рядом с кроватью взял папиросу «Норд», чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся. Ничего нет слаще этой первой утренней затяжки, когда горячий, сухой дым ползет в легкие, заливая голову мягкой одурью, и тело наполняется радостным ощущением бездельного блаженства, когда точно знаешь, что у тебя есть несколько свободных от беготни, суеты и забот минут, отданных всецело пустому глядению в потолок и удовольствию от горьковато-нежного табачного вкуса.

Окно комнаты выходило на перекресток у Сретенских ворот, и когда машины на улице, сдержанно урча, сворачивали с бульвара на Дзержинку, свет их фар белыми плотными столбами таранил стекло и, ворвавшись в комнату, упирался в стену, на одно мгновение замирал, словно в раздумье, куда ему дальше деваться, и затем стремительно прыгал на потолок яркими сплошными пятнами, прочерчивал его наискось и прятался в углу за карнизом, будто там была дырка, через которую он навсегда исчезал из комнаты.

Я лежал, глазел на прыгающие со стены на потолок пятна голубоватого света, курил папироску и думал о том, что в МУРе мне, наверное, придется нелегко. Чуть больше суток минуло с того момента, как я вошел в желтый трехэтажный особняк Управления милиции, предъявил в подъезде пропуск, поднялся на второй этаж, разыскал комнату номер 64 и постучал в дверь.

– Открыто! – крикнули тонким голосом из кабинета.

Я вошел и представился по-уставному:

– Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов для прохождения службы прибыл!

Хозяин кабинета, по-видимому тот самый знаменитый старший оперуполномоченный Глеб Жеглов, начальник оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом, к которому меня направили для стажировки, сидел за письменным столом, заваленным папками и исписанными на машинке листами. Меня удивило, что у знаменитого сыщика такой невзрачный вид: был он очень тощ, очень длинен и очень сильные очки в роговой оправе сидели косо на хрящеватой переносице. И наверное, от сознания физической своей немошности держался он очень важно. Смотрел поверх меня, откидывая голову и задирая высоко подбородок, и хотя происходило это, скорее всего, от недостатка зрения, вид у него при всей его нескладности все равно был крайне высокомерный.

– Ну здравствуй, Шарапов! – сказал он наконец. – Из кадров о тебе уже звонили. В общем, мы таким тебя и представляли...

Я не понял, кто это «мы», но отчего-то мне стало неловко, и я ответил, пожав плечами:

– Обыкновенный...

– Конечно обыкновенный, только вот такие обыкновенные фронтové ребята и нужны нам. Чем занимаемся, знаешь?

Я кивнул, но, видимо, не совсем уверенно, потому что оперативник важно сказал, подняв вверх палец:

– Бандитизм. Убийства. Разбой. А это тебе не фунт изюма. Ты на фронте разведчиком был?

– Точно. Командир разведроты.

– Приживешься. Весной будет набор в юршкóлы – мы тебя туда быстренько затолкаем...

В этот момент с шумом растворилась дверь, и в кабинет влетел парень – смуглый, волосы до синева черные, глаза веселые и злые, а плечи в пиджаке не помещаются. Мельком взглянул, засмеялся – как пригоршню рафинада рассыпал:

– Ты Шарапов? Здорово! Жеглов моя фамилия...

Я удивленно посмотрел на человека за столом, а Жеглов крикнул ему:

– Ну-ка, отец Григорий, кыш со стула!

– Я тут поработал немного, – сказал задумчиво, важно Григорий, медленно разогнул свои бесчисленные суставы и выпрямился, как штатив на пляже.

– Вы тут уже, наверное, познакомились? – спросил Жеглов.

– Ну, более-менее, – пробормотал я, а Григорий солидно покачал головой:

– Я пока кое-что объяснил товарищу про нашу работу...

Жеглов искоса посмотрел на него, засмеялся и сказал:

– Шарапов, ты запомни – это великий человек, Гриша Ушивин, непревзойденный фотограф, старший сын барона Мюнхаузена. Мог бы зарабатывать на фотокарточках бешеные деньги, а он бескорыстно любит уголовный розыск...

– Ну знаешь, Жеглов, мне твои оскорбительные выходки надоели! – закричал Гриша; он покрылся неровными красными пятнами, и стекла очков у него запотели. – Если ты хочешь со мной поругаться...

– Упаси бог, Гриша! – захохотал Жеглов. – Шарапов – человек военный, он тебя лучше всех поймет. Не твоя же вина, что медкомиссия тебя до аттестации не допускает. Но разве дело в погонах? А, Гриша? Все дело в бесстрашном сердце и быстром уме! Так что ты еще нами всеми здесь покомандуешь!

Гриша хотел было дать достойный ответ Жеглову, но в кабинет вошли двое – квадратный человек с неприметным серым лицом и совсем молоденький парнишка, и я узнал, что их фамилии – Пасюк и Векшин, а еще через минуту прибежал Коля Тараскин и задыхающимся шепотом сообщил, что звонил Сенька Тузик: бандиты назначили встречу...

Так я вошел в группу Жеглова, и было это двадцать часов назад, и произошло с нами всеми за этот день такое, что у меня теперь не будет времени на привыкание, учебу и притирку – надо с ходу заменять погибшего сотрудника...

На кухне огромной коммунальной квартиры оказался только один человек – Михаил Михайлович Бомзе. Он сидел на колченогом табурете у своего стола – а на кухне их было девять – и ел вареную картошку с луком. Отправлял в рот кусок белой рассыпчатой картошки, осторожно макал в солонку четвертушку луковицы, внимательно рассматривал ее прищуренными близорукими глазами, будто хотел убедиться, что ничего с луковицей от соли не произошло, и неспешно с хрустом разжевывал ее. Он взглянул на меня так же рассеянно-задумчиво, как смотрел на лук, и предложил:

– Володя, если хотите, я угощу вас луком – в нем есть витамины, фитонциды, острота и общественный вызов, то есть все, чего нет в моей жизни. – И, покачав лысой острой головой, тихо заперхал, засмеялся.

– В нем полно горечи, Михал Михалыч, – сказал я, усаживаясь напротив. – Так что давайте я лучше угощу вас омлетом из яичного порошка!

– Спасибо, друг мой, вам надо самому много есть – вы еще мальчик, у вас всегда должно быть чувство голода. – Он смотрел на меня прищурясь, и все его лицо было собрано в маленькие квадратные складочки, а кожа коричневая – в темных старческих пятнах. И может быть, потому, что Михал Михалыч вытягивал сильно голову из коротенького плотного туловища с толстыми лапками-руками и маленькими ногами, казался он мне очень похожим на старую добрую черепаху. И носил он к тому же коричневый костюм в клетку, цветом и мешковатостью напоминавший ячеистый панцирь.

Я бросил на сковороду комок белого свиного лярда, разболтал в чашке яичный порошок – желтая жижа с бульканьем и шипением разлилась на черном чугуने, – потом принес из комнаты буханку черного хлеба и сохранившиеся шесть кусков сахара, а у Бомзе был чай на заварку. Так что завтрак у нас получился замечательный.

Старик ел мало и медленно, и я видел, что еда не доставляет ему никакого удовольствия – ест, потому что если не есть, то, наверное, скоро умрешь. Вот он и ел, не ощущая вкуса, равнодушно и неторопливо, будто выполнял скучную, надоевшую работу. Потом отложил вилку и сказал:

– Впрочем, вы уже не мальчик. Вы уже мужчина. Сколько вам минуло?

– Двадцать два.

– Двадцать два, двадцать два... – Старик высунул из-под панциря и снова спрятал острую головку. – Как я был счастлив в двадцать два года!

От воспоминаний он прикрыл тонкие синеватые перепоночки век, и со стороны можно было подумать, что старик заснул. Но он не спал, потому что зашевелились лапки на столе, и он спросил:

– Володя, а вы счастливы в свои двадцать два?

Я пожал плечами:

– Не знаю, вроде бы все нормально.

– А я точно знал, что счастлив. И счастье, когда-то огромное, постепенно уменьшалось, пока не стало совсем маленьким – как камень в почке...

Я посмотрел на него искоса: в уголке черного мутного глаза застыла печаль, едкая, как неупавшая слеза. Жалко было старика – уж больно тоскует.

– Михал Михалыч, ну что вы здесь один маетесь? У вас же есть какие-то родственники или друзья в Киеве – вы бы поехали к ним, все-таки веселее...

Бомзе покачал своей маленькой сухой изморщенной головой, грустно усмехнулся широким черепашиным ртом.

– Сколько улитка по земле ни ходит, от своего дома все равно не уйдет. Кроме того, – сказал он, минутку подумав, – они все уже старые, а старикам вместе жить не надо. Старикам надо стараться притулиться где-нибудь около молодых – это делает прожитую ими жизнь более осмысленной...

Сына Бомзе – студента четвертого курса консерватории – убили под Москвой в октябре сорок первого. Он играл на виолончели, был сильно близорук и в день стипендии приносил матери цветы. В нашей квартире никто никому никогда не дарил цветов, и эти букетики пробуждали к юноше чувство одновременно жалостливое и почтительное, ибо при всей очевидной нелепости траты денег на цветы, когда их за городом можно нарвать сколько угодно, соседи ощущали именно в этих цветочках нечто возвышенное и трогательное.

Цветы приобрели наглядный смысл, когда старики Бомзе получили извещение о смерти сына. Мать, никогда не болевшая раньше, прожила после этого три дня и умерла ночью, во сне, и обряжавшие ее и хоронившие на Немецком кладбище соседи почему-то больше всего вспоминали про эти цветы, словно они были самым главным, что запомнилось им из короткой жизни мальчика, быстрого, близорукое, извлекавшего из своей виолончели трепетно-тягучие, волнующие и не очень понятные мелодии...

– А вы довольны своей новой работой, Володя? – спросил Михал Михалыч.

– Как вам сказать... Я еще и сам не разобрался, – уклончиво ответил я, вспомнил Васю Векшина и подумал, что вряд ли тот был старше сына Михал Михалыча. И больше ничего говорить не стал, потому что старику вовсе не следовало знать, как я провел свой первый день в МУРе. Посмотрел на часы и стал торопливо собираться.

– Оставьте, Володя, я сам потом вымою посуду – я ведь на свою работу не опоздаю, ибо удачно пошутить никогда не поздно... – сказал старик.

Работа у Бомзе была необычная. До войны я вообще не мог понять, как такую ерунду можно считать работой: Михал Михалыч был профессиональный шутник. Он придумывал для газет и журналов шутки, платили ему очень немного и весьма неаккуратно, но он не обижался, снова и снова приносил свои шутки, а если они не нравились – забирал или переделывал. Он любил повторять, что, к счастью, за самые лучшие шутки и анекдоты ему не назначили гонорара. Называлась его профессия «юморист-малоформист», и меня всегда удивляло, как может придумывать действительно смешные шутки и истории такой унылый и тихий человек...

Мне показалось, что Михал Михалыч хочет сказать что-то важное, но на кухню ввалилась Шурка Баранова со всеми пятью своими отпрысками, и сразу поднялся здесь невыразимый гвалт, суета, беготня, топот, крики, смех и плач одновременно, дети хватили из тарелки картошку Бомзе, дергали меня за ремень, один подлез под полу шинели, чтобы пощупать кобуру пистолета, другой забрался к старику на колени, все они хотели кричать, бегать, есть, они хотели жить, и я понял, почему старик не желает уезжать отсюда в Киев не то к друзьям, не то к родственникам.

КЛЕВ РЫБЫ

На подмосковных водоемах изо дня в день усиливается клев рыбы. Щука берет лучше всего на Истринском водохранилище. Здесь попадаются экземпляры весом в 4–5 кг. Хорошо клюет и окунь, нередко довольно крупный, 600–700 граммов.
«Вечерняя Москва»

В отделе было шумно: опердежурный Соловьев выиграл по довоенной еще облигации пятьдесят тысяч. Счастливчик, очень довольный и гордый, слегка смущаясь, благодарил за поздравления, с которыми к нему приходили даже люди малознакомые. Торжество достигло вершины, когда явился редактор управленческой многотиражки с фотографом. Правда, тут Соловьева обуяла скромность, и он стал отказываться, бормоча, что ничего особенного он не сделал, но редактор быстро урезонил его, подсказав, что помещать его портрет в газете будут не от восхищения замечательными соловьевскими глазами, а потому, что это дело политически важное.

Потом пришел Жеглов, которому Соловьев в тысячный раз поведал, как он вчера «так просто, от скуки, чтоб время, значит, убить» проверил номера облигаций по первому послевоенному тиражу:

– Смотрю, братцы вы мои, серия сходится! А как увидел выигрыш – полтинник, – так и номер проверять опасаюсь, вдруг, думаю, не тот, получи тогда «на остальные номера выпали...». Отложил я газету на диван, пошел перекурить...

– А сердце так и бьется, – сочувственно сказал Жеглов.

– Ага... – простодушно подтвердил Соловьев. – Зову Зинку. Зинк, говорю, у тебя рука счастливая, проверь-ка номер... Да, братцы, это не каждому так подвалит...

– Еще бы каждому! – подтвердил Жеглов. – Судьба, брат, она тоже хитрая, достойных выбирает. А как тратить будешь?

– Ха, как тратить! – Соловьев залился счастливым смехом. – Были б гро`ши, а как тратить – нет вопроса.

– Не скажи, – помотал головой Жеглов, – «нет вопроса»... К такому делу надо иметь подход серьезный. Я вот, например, полагаю, что достойно поступил Федя Мельников из третьего отдела...

– А чего он? – спросил Соловьев озадаченно.

– А он по лотерее перед самой войной выиграл легковой автомобиль ЗИС-101, цена двадцать семь тысяч.

– И что?

– Что «что»? Как настоящий патриот, Федя не считал правильным в такой сложный международный момент раскатывать в личном автомобиле. И выигрыш свой пожертвовал на дело Осоавиахима, понял?

Лицо Соловьева сильно потускнело от этих слов Жеглова, как-то пригласило оно от его рассказа, помялся он, пожевал губами, обдумывая наиболее достойный ответ, и сказал:

– Мы с тобой, товарищ Жеглов, люди умные, должны понимать, что война кончилась, государство специально тираж разыграло, чтобы людям, за трудные времена пообтрепавшимся, облегчение сделать. Да и Осоавиахима уже нет никакого...

Жеглов ухмыльнулся, потрепал Соловьева по плечу, сказал не то всерьез, не то шутейно:

– Это, Соловьев, только ты умный, а я так, погулять вышел... Конечно, вместо Осоавиахима я бы тебе другой адресочек мог подбросить, но, вижу, ты к этой идее относишься слишком вдумчиво. Поэтому, так и быть, ограничимся коньячком с твоего выигранного капитала. Сделались?

Соловьев явно обрадовался благополучному исходу.

– Что за вопрос между друзьями! – сказал он важно. – Обмоем, как водится!

– Не обманешь? А то на посуле как на стуле: посидишь, да встанешь, – недоверчиво покачал головой Жеглов и, будучи не в силах уговориться, добавил: – К тому же теперь будет у кого перехватить до полочки, а?

Соловьев готовно покивал, но в глазах его я особой радости по поводу жегловских планов не заметил.

– Теперь дочке пианино куплю, – сказал он. – А то в школу на трех трамваях ездит, покою нету... Жене, Зинке, отрез панбархата возьму, в комиссионке на Столешникове видел. Шикарный отрез, розовый, две с половиной стоит...

– А слоники у тебя на комодке есть? – поинтересовался Жеглов.

– Какие еще слоники? – не понял дежурный.

– Семь таких слоников, мал мала меньше, они еще счастье приносят.

– А у тебя эти слоники есть? – спросил, подумав, Соловьев.

– Есть, – соврал Жеглов и «подставился».

Радостно захохотав, Соловьев заорал:

– Вот у тебя есть, а у меня нет, а счастье все равно мне подвалило! Суеверие одно, товарищ Жеглов, ты на них, на слоников, не надейся...

– Ну и дурак, – сказал Жеглов и хотел еще что-то добавить, но зазвонил телефон.

Глеб снял трубку, и по ходу разговора улыбка сошла с его лица, вытянулось оно, и жестко сжались губы.

– Хорошо, – отрывисто сказал он в трубку. – Сейчас выезжаем. – Дал отбой и скомандовал: – Бригада, на выезд. В Уланском – труп ребенка!

Во дворе около столовой стоял старый красно-голубой автобус с полублезшей надписью «милиция» на боку. Шесть-на-девять крикнул мне:

– Гляди, Шарапов, удивляйся: чудо века – самоходный автобус! Двигается без помощи человека...

Трофейный «опель-блиц» наверняка за долгую свою жизнь повидал виды. От старости и того невыносимо тяжелого груза, что пришлось ему повозить за долгие годы, просели ресоры и высохли амортизаторы, машина будто припала к земле громоздким брюхатым кузовом на хилых перелатанных баллонах и неуклюжей стальной своей и плоской придавленной мордой походила на огромного больного бульдога.

Водитель автобуса Копырин ходил вокруг машины, задумчиво пиная колеса, и недовольно качал головой, не обращая внимания на подначки оперативников. Взглянул на меня и, может, потому, что я один не смеялся над его транспортом, сказал мне доверительно:

– Эх, достать бы два баллона от «доджа», на задок поставить – цены бы «фердинанду» не было.

– Какому «фердинанду»? – спросил я серьезно.

Копырин засмеялся:

– Да вот они, балбесы наши, окрестили машину, теперь уж и все так кличут. Мол, на самоходку немецкую, «фердинанд», сильно смахивает...

Я улыбнулся: и верно, в приземистой кургузой машине было что-то общее с тупым напористым ликом самоходного орудия.

– Ты-то сам против них стоял когда? – спросил Копырин.

– Случалось, – ответил я, и в этот момент прибежал Жеглов.

Копырин влез в кабину. Пассажирскую дверь он отпирал длинным рычагом, когда-то никелированным, а теперь облезшим до медной прозелени и все-таки не потерявшим своего шика – гнутая ручка на фигурном кронштейне.

Первым в автобус прыгнула огромная дымчатая овчарка Абрек, степенно залез проводник-собаковод Алимов, нырнул ловко Коля Тараскин, загремел на ступеньках своей аппаратурой и нескладными суставами Шесть-на-девять, осторожно, будто в лодку входил, подался судмедэксперт, я шагнул – раз-два, к переднему сиденью в углу. Жеглов встал на подножку, молча оглядел всех, словно еще раз проверил, есть ли смысл брать нас с собой, и только тогда кивнул шоферу.

Копырин нажал ногой на педаль, стартер завыл так тонко и горестно, так скулил он от истощения и старости аккумулятора, что пес Абрек тревожно поднял голову, дыбком воздел уши и ответил ему низким рыком. Шесть-на-девять, восседавший на кондукторском месте, уже открыл рот, чтобы оценить должным образом ситуацию, но Жеглов бросил на него короткий взгляд, быстро сказал:

– Помалкивай...

И мотор наконец чихнул, затем еще раз, еще – вспышки разрослись в частый треск, – заревел громко и счастливо, заволок двор синим едучим угаром, и «фердинанд» тронулся, выполз на Большой Каретный и взял курс на Садовую.

Жиденькая толпа стояла у дверей подъезда во дворе пятиэтажного дома в Уланском переулке. Копырин лихо затормозил, проводник выскочил с Абреком первым, за ним, дробно грохоча каблуками по металлическим ступенькам автобуса, вывалились остальные. Навстречу им шагнула девушка в милицейской форме, четко вскинула руку к козырьку:

– Здравия желаю! Докладывает младший сержант Синичкина: вызов оказался ложным, ребенок жив, это просто подкидыш.

– А что же сразу не могли разобраться – жив ребенок или нет? – недовольно спросил Жеглов. – Какого черта дергаете по пустякам муровскую бригаду?

Девушка покраснела, быстро ответила:

– Вызов к дежурному по городу был сделан соседями еще до того, как я прибыла на место происшествия. Я пришла со своего поста десять минут назад и сразу позвонила на Петровку, но вы уже выехали...

– А где сейчас ребенок? – поинтересовался Жеглов.

– Его в квартиру пока внесли, там наверху, – показала Синичкина рукой. – Чего же ему еще на холоде терпеть?

– А почему вообще решили, что он мертвый? – все еще сердито допытывался Жеглов.

– Его обнаружил на лестничной клетке около чердачной двери слесарь Миляев...

Из-за ее спины вырос невысокий парень в замызганной черной краснофлотской шинели, на деревянной ноге, затараторил бойко-бойко, сглатывая концы фраз:

– Елки-моталки, а чего ж мне еще-то думать, когда иду я на чердак, магистраль бандажить, а оно здесь и лежит, кулечек махонький, люля запеленутая, и тишина гробовая – ни тебе крика, ни сопения, а сплошное молчание, – и взял меня страх, что какая-то стервоза, извергиня, собственное дите жизни лишила, ну, я тут сразу же бегом в тридцать вторую квартиру – телефон у них – и вызвал власти милицейские, чтобы дознались они про этого демона в женском обличье...

– Все понятно, – кивнул Жеглов. – Ну, раз приехали, давай, Шарапов, поднимемся с тобой, взглянем на найденыша...

– А что же делать-то с ним, с маленьким? – спросила Синичкина. – Он ведь такой крошечный, как будет без матери – непонятно...

– Чего непонятного – вырастет! – сказал Жеглов, быстро перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. – Не бросит его страна, государство вырастит, еще неизвестно, может быть, станет лучше других, в хOLE взлелеянных деток.

Синичкина спросила:

– А мать искать будем? Жалко маленького...

– На кой она нужна, такая мать?! – хмыкнул Жеглов. – Хотя личность ее надо попробовать установить, от такой паскуды можно чего угодно ожидать...

На площадке пятого этажа нас встретил басистый могучий рев, дверь в тридцать вторую квартиру была приоткрыта, старушка качала на руках завернутого в одеяло младенца.

– Проснулся вот – есть просит, – сказала она, протягивая нам сверток, будто мы могли его накормить.

Я очень осторожно взял ребенка на руки и удивился, какой он легонький. Личико его покраснело от крика, он сердито открывал свой крошечный беззубый ротик, издавая пронзительный гневный крик. Я сказал ему растерянно:

– Ну, потерпи, карапуз, потерпи немного... Потерпи, кутька, чего-нибудь придумаем...

Жеглов взглянул на меня, усмехнулся:

– Ты веришь в приметы?

– Верю, – сознался я.

– Добрый тебе знак. Мальчишка-найденый – это добрая примета, – сказал, улыбаясь, Жеглов и велел Синичкиной распеленать ребенка.

– Зачем? – удивилась девушка, и я тоже не понял, зачем надо разворачивать голодного и, наверное, замерзшего ребенка.

– Делайте, что вам говорят...

Синичкина быстрыми ловкими движениями распеленывала мальчика на столе, и мне приятно было смотреть на ее руки – белые, нежные, несильные, какие-то особенно незащищенные оттого, что слабые запястья высывались из обшлагов грубого шинельного сукна. Синичкина сердито хмурила брови, сейчас совсем немодные – широкие и вразлет, а не тоненькие, выщипанные и чуть подбритые в плавные, еле заметные дуги.

Жеглов взял малыша на руки, и тот заревел еще пуще. Держа очень осторожно, но твердо, Жеглов бегло осмотрел этот мягкий орущий комочек, вынул из-под него мокрую пеленку и снова передал мальчика Синичкиной:

– Все, заворачивайте. Смотри, Шарапов, у него на голове родимое пятнышко...

На ровном пушистом шарике за левым ушком темнело коричневое пятно размером с фасолину.

– Ну и что?

– Это хорошо. Во-первых, потому, что будет в жизни везучим. Во-вторых, вот здесь, в углу пеленки, полустершийся штамп, значит пеленка или из роддома, или из яслей. Пеленку заверни, отдадим нашим экспертам – они установят, что там на штампе написано было. А

тогда по родимому пятнышку и узнаем, кто его хозяин. Кстати, как думаешь, сколько времени пацану?

– Я думаю, недели две-три, – неуверенно предположил я.

– Ну да! Как же! – усомнился Жеглов. – Ему два месяца.

– Мальчику – месяц, – сказала Синичкина. – Он ведь такой крошечный...

– Эх вы, молодежь! – засмеялась старуха, до сих пор молча наблюдавшая за нами. – Сразу видать, что своих-то не нянчили. Три месяца солдату: видите, у него рожденный волос уже полез с головы, на настоящий меняется, – значит, четвертый месяц ему...

– Ну и хорошо, скорее вырастет, – ухмыльнулся Жеглов. – Значитца, так: ты, Шарапов, с Синичкиной махнешь сейчас в роддом. Какой здесь поближе? Наверное, на Арбате – имени Грауэрмана. Пусть осмотрят пацана – не заболел ли, не нуждается ли в какой помощи – и пусть его накормят там чем положено. А к вечеру договоримся – переведут его в Дом ребенка...

– Слушай, Жеглов, а могут не принять ребенка в роддоме? – спросил я.

Жеглов сердито дернул губой:

– Ты что, Володя, с ума сошел? Ты представитель власти, и в руках у тебя дите, уже усыновленное этой властью. Кто это посмеет с тобой спорить в таком вопросе? Если все же вякнет кто полслова, ты его там под лавку загони... Все, марш!

Я нес ребенка, и, угревшись в моих руках, мальчик замолчал. Жеглов шагал по лестнице впереди и говорил мне через плечо:

– ...Батяня мой был, конечно, мужик-молоток. Настрогал он нас – пять братьев и сестер – и отправился в город за большими заработками. Правда, нас никогда не забывал – каждый месяц присылал доплатное письмо. Один раз даже приехал – конфет и зубную пасту в гостинец привез, а на третий день свел со двора корову. И чтобы следов не нашли, обул ее в опорки. Может быть, с тех пор во мне страсть к сыскному делу? А, Шарапов, как думаешь?

Я что-то такое невразумительно хмыкнул.

– Вот видишь, Шарапов, какую я тебе смешную историю рассказал... – Но голос у Жеглова был совсем невеселый, и лица его в сумраке полутемной лестницы было не видать.

Мы вышли из подъезда. Здесь все еще стояли зеваки, и Коля Тараскин говорил им вяло:

– Расходитесь, товарищи, расходитесь, ничего не произошло, расходитесь...

А слесарь Миляев, в краснофлотской шинели, покачиваясь слегка на своей деревяшке, водил перед носом Копырина черным сухим пальцем и доверительно объяснял:

– Я тебе точно говорю: в человеке самое главное – чтобы он был человеческим...

Жеглов тряхнул головой, словно освобождаясь от воспоминания, пришедшего к нему на лестнице, и по тому, как он старательно не смотрел на меня, я понял, что он жалеет вроде бы о том, что разоткровенничался. И засмеялся он как-то резко и сердито, сказав шоферу:

– Слушай, Копырин, поскольку ты у нас самый человечный человек, то давай побыстрее отвези Шарапова с сержантом Синичкиной на Арбат в роддом. И мигом назад – в шестьдесят первое отделение милиции, это рядом, мы пешком дойдем. Я позвоню на Петровку, и мы вас там дождемся...

Синичкина вошла в автобус, я протянул ей ребенка. Жеглов придержал меня за плечо, шепнул на ухо:

– А к сержанту присмотришься! Девочка-то правильная! И адрес роддома запомни, – может, еще самому понадобится...

Я почему-то смутился, я ведь на нее как на женщину и не посмотрел даже, милиционер и милиционер, их сейчас, девушек-милиционеров, больше половины Управления. Вся постовая служба, считай, ими одними укомплектована.

«Фердинанд» тронулся. Жеглов помахал нам рукой. Синичкина, прижимая к себе ребенка, смотрела в затуманенное дождем стекло. И лицо ее – круглое, нежное, почти детское – тоже было затуманено налетом прозрачной печали, легкой, как дымка, грусти. И я неожиданно

подумал, что нехорошо разглядывать ее вот так, в упор, потому что от слов Жеглова ушло то простое и естественное удовольствие, с которым я смотрел давеча, когда она пеленала мальчика, на ее быстрые ловкие руки. Но все равно смотрел, с жадностью и интересом. Хорошо бы поговорить с ней о чем-нибудь, но ни одной подходящей темы почему-то не подворачивалось. А она молчала.

– Вы почему так погрустнели? – наконец спросил я.

Она посмотрела на меня, улыбнулась:

– Задумалась, кем станет этот человечик, когда вырастет...

– Генералом, – сказал я.

– Ну, не обязательно. Может, он станет врачом, замечательным врачом, который будет спасать людей от болезней. Представляете, как здорово?

– Да, это было бы прекрасно, – согласился я. – А может быть, он станет милиционером? Сыщиком?

Синичкина засмеялась:

– Когда он вырастет, уже никаких жуликов не будет. Вам сколько лет?

– Двадцать два.

– А ему двадцать два исполнится в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. Представляете, какая замечательная жизнь тогда наступит?

– Да уж, наверное...

– Вы давно в уголовном розыске служите?

Мне было как-то неловко сказать, что сегодня фактически второй день, и я бормотнул уклончиво:

– Да нет, недавно. Я после фронта.

– А я просилась на фронт – не пустили. Вы не слышали, скоро будет демобилизация женщин из милиции?

– Не слышал, но думаю, что скоро. Когда я в кадрах оформлялся, слышал там разговор, что сейчас большое пополнение идет за счет фронтовиков.

– Ой, скорее бы...

– А что будете делать, когда шинель снимете?

– Как что? В институт вернусь. Я ведь со второго курса ушла.

– А вы в каком учились – в медицинском?

– Нет, – вздохнула Синичкина. – Поступала и не прошла, приняли меня в педагогический. Но мне кажется, что это тоже хорошая профессия – детей учить. Ведь правда хорошая?

– Правда, – улыбнулся я.

Автобус проехал через Собачью площадку и затормозил у роддома. Синичкина сказала:

– Вы не теряйте со мной времени, поезжайте назад, а за парня не беспокойтесь – я сама справлюсь...

Мне очень хотелось спросить у Синичкиной, как ее найти, или хотя бы телефон записать, но Копырин уже распахнул дверь своим никелированным рычагом-костылем и, откинувшись на спинку сиденья, смотрел на нас с ухмылкой, и я представил себе, как, вернувшись, он будет всем рассказывать, что новенький опер, вместо того чтобы делом заниматься, стал клинья подбивать к симпатичному сержанту, и как все начнут веселиться и развлекаться по этому поводу, и от этого сказал неожиданно сухо:

– Хорошо. Оформите все, как полагается, и пришлите рапорт, а мы поедем.

Девушка посмотрела на меня удивленно, ресницы ее дрогнули.

– Слушаюсь. До свидания.

Тоненькая высокая ее фигурка скрылась за дверью роддома, а я все смотрел ей вслед, пока Копырин не сказал за спиной:

– Дуралей ты, Шарапов. Дивчина какая, а ты ей – «пришлите рапорт». Я бы на твоём месте ей сам каждый день рапорт отдавал...

На заводе, где начальником цеха ширпотреба тов. Голубин, начали изготавливать керосинки, известные под названием «корогаз». Они отличаются от обычных керосинок не только внешней формой и хорошей отделкой, но и новой конструкцией, экономичностью и бесшумным горением.

«Вечерняя Москва»

Около двух часов Жеглов заглянул в комнату, сказал:

– На выезд – мужика застрелили... Давайте быстро! – И закрыл дверь.

Я торопливо натянул шинель и вместе со всеми побежал к автобусу. В салоне было сыро, холодно, пронзительно воняло махоркой, и я с сочувствием посмотрел на пса: тот судорожно разевал громадную пасть и тряс головой. Я подумал, что, если бы собаки могли падать в обморок, Абрек, при его тонком нюхе, запросто лишился бы чувств. Но Абрек позевал, поерзал и, удобно устроив здоровенную башку на коленях у проводника, задремал, изредка открывая глаза, когда шофер включал пронзительно завывающую сирену. Автобус мчался с большой скоростью – пятьдесят, не меньше, – и я с удовольствием видел, как при звуках сирены прочие машины сбавляли скорость, сторонились, пропуская «фердинанд». По окну медленно скатывались грязноватые капли дождя, стекло было мутное, но я заметил, что каждый раз, когда пассажир из обгоняемой машины смотрел в нашу сторону, Шесть-на-девять принимал озабоченно-серьезный вид утомленного исключительными, первейшей государственной важности делами человека, хотя его и разглядеть-то никто не мог, потому что на улице было пасмурно, а автобус освещался одной-единственной крохотной автомобильной лампочкой в пятнадцать свечей.

Жеглов, пользуясь случаем, спал, судмедэксперт, обернувшись к Тараскину, о чем-то тихо с ним беседовал, и даже Шесть-на-девять утомился, поднял бархатный воротничок своей куртки, натянул на глаза клетчатую кепку и о чем-то сосредоточенно думал...

Где-то в районе Нижних Котлов автобус заскрежетал, дернулся пару раз и остановился. Копырин своим рычагом открыл переднюю дверь, и я выскочил наружу первым, потом потянулись остальные. Нас встречал участковый, высокий худющий лейтенант в старой заношенной шинели. Участковый поискал глазами среди прибывших начальство, и длинное унылое лицо его выражало растерянность и недовольство. Решив, видимо, что старший – я, поднес руку к козырьку:

– Покушение на убийство, товарищ начальник. При помощи огнестрельного оружия в лице охотничьего ружья... – И представился: – Участковый уполномоченный лейтенант милиции Воробьихин!

Жеглов усмехнулся мимолетно, приказал:

– Конкретно докладывай: где, когда, кого, кто?... Ну! Охрана места происшествия обеспечена?

Воробьихин, оттого что не опознал начальника, смутился, растерянность его возросла, он неловко щелкнул большими кирзовыми сапогами и начал путано объяснять, показывая рукой на одноэтажный домик, около которого толпились люди:

– Вот в этом, значит, доме дело было... Фирсов тут живет, Елизар Иваныч. Фронтоник, человек положительный. В общем, гость у него сегодня был, друг его. Они, значит, за столом сидели, потом Елизар Иваныч плясать стал, а друг его на гармони играл. Глядь, ни с того ни с сего выстрел через окно, стекло – чпок! – конечно...

– Попал? – спросил Жеглов.

– В Елизар Иваныча – в голову, в плечо... дробью.

– Ну?..

– «Скорая» увезла – жив был, только без сознания.

– Пошли! – махнул рукой Жеглов, двинулся к домику, уже на ходу спрашивая дальше: – Кто-нибудь видел преступника?

– Не видели... – вздохнул огорченно участковый. – Друг-то его сразу кинулся к Елизару Иванычу, а уж как жена в комнату вбежала, он тогда на улицу подался... Да где там, этого, кто стрелял, уже и след простыл...

– Подозреваешь кого? – спросил Жеглов, входя через калитку за палисадник и направляясь не к дверям домика, как я ожидал, а к окнам. Одно было разбито, и Жеглов задержался около него.

– Трудно сказать... – неопределенно отозвался Воробьихин. – Есть у нас, конечно, шпана разная, но ведь в лицо-то не видели. Как тут привлекать?..

– Привлекать погодим, – согласился Жеглов. – Сначала лицо надо определить подходящее... Значитца, так-с... Тараскин, Гриша, ну-ка, посветите перед окном фонарями!

Мягкая мокрая земля перед окном вся была истоптана. Уловив недовольный взгляд Жеглова, Воробьихин сказал, разведя руками:

– Это еще до моего прибытия, товарищ начальник. Народу тьма под окном побывала.

Жеглов хмыкнул, вопросительно посмотрел на проводника Алимова, тот, в свою очередь, посмотрел на Абрека и пожал плечами:

– Я его от палисадника пушу, товарищ капитан. Все ж таки меньше там натоптали... – И, намотав на руку ремень-поводок, побежал с собакой за калитку.

Жеглов внимательно осмотрел раму разбитого окна, обернулся, заметил меня, подозвал к себе:

– Иди сюда. Видишь, дыра в наружном стекле не очень большая, внутреннее стекло разбилось сильнее. В деревянной раме следов от дробы совсем мало. Это что означает?

– Кучно заряд летел, – сказал я.

– Значит?..

– Значит, близко стреляли, из палисадника.

– Правильно, – одобрил Жеглов. – А посему общитесь с Тараскиным весь палисадник перед окнами, особенно вон тот крыжовник, и найдите мне следы ног преступника. Ежели найдете пуговицу его или там носовой платок – поощрю особо!

Тараскин кивнул совершенно серьезно – ясно, мол, будет сделано, – но мне не казалось таким очевидным, что преступник специально приготовил для нас против себя улики, и я спросил:

– А если там ничего этого не будет?..

– Тогда там обязательно будет пыж. Знаешь, что такое? – прищурился Жеглов. – Кто ищет, тот всегда найдет. Валяйте, а я пойду в дом, там пора осмотреться...

К великому моему удивлению, через несколько минут в гуще крыжовника действительно нашли незатоптанные следы обуви, особенно отчетливым был след правого сапога, глубоко отпечатавшийся в глинистой податливой почве.

– Вот отсюда он и стрелял, паразит, – сказал Тараскин. – Видишь, прямая линия к окну проходит и все, что в комнате, как на ладони. А его самого с улицы за кустами не видно. Шарахнул – и ходу!

Освещая землю фонариком, мы старательно, сидя на корточках, просматривали весь участок перед окнами, но ничего интересного больше не находили. Уже собрались заканчивать, когда я углядел вдавленный чьим-то каблуком в глину комочек бумаги. Аккуратно выковырял его ножом, осветил фонарем вплотную, осторожно расправил на ладони – кусок рваной газеты, резко отдававший кислой пороховой гарью. Это был пыж.

Вернулся с улицы проводник с собакой; Абрек следа не взял, и Алимов ворчал себе под нос насчет того, что несознательный народ не создает ну никаких тебе условий для работы. Из

дома появился Жеглов. Я уже вошел в азарт и даже слегка волновался в предвкушении похвалы за свой первый успех. Но Жеглов воспринял мой рапорт о находках как нечто должное.

– Ага. Ладно, – сказал он только и повернулся к фотографу Грише. – Сейчас Копырин в больницу поедет. Ты отправляйся с ним, заедешь в нашу многотиражку, там есть подшивки газет, в первую очередь «Правду», «Известия» и «Вечерку» надо тебе будет смотреть. А пыж приведи в божеский вид и попробуй узнать, от какой газеты бумага. Если удастся, постарайся найти тот самый номер газеты и быстро-быстро вези сюда. Понял?

– Понял, – кивнул Шесть-на-девять. – Я один раз по страничке, вырванной из книги, владельца определил...

– Во-во, – перебил Жеглов. – Все, двигай. Одна нога здесь, другая там!

Гриша пошел к автобусу, а Жеглов спросил участкового:

– Воробьихин, у кого на твоём участке ружья охотничьи имеются?

– Да вроде бы и не припомню, – сказал, подумав, Воробьихин. – У нас как будто охотников нету, у нас больше рыбалкой занимаются...

– Пронин Сенька ружьишком баловался, – неожиданно подал голос молчавший до сих пор сухопарый мужичонка в серой телогрейке – сосед Фирсова, взятый Жегловым в понятия.

– Про-онин? – переспросил участковый. – Не-ет, он еще когда свою «тулку» на велосипед поменял.

– Все равно надо с ним повидаться, – сказал я. – Они с Фирсовым-то в каких отношениях?

– В нормальных, ничего промеж ними не было, – ответил Воробьихин.

– Ну, коли и не было, он небось про охотников-то побольше твоего знает, – сказал участковому Жеглов. – Рыбак рыбака, как говорится, видит издалика. И охотник то же самое.

Пронин подтвердил слова участкового и даже велосипед показал – старенькую ободранную «украинку» с разноцветными шинами: одной черной, другой, видимо трофейной, – зеленой. И насчет охотников уверенно сказал:

– Нет ни одного во всей округе, я, может, потому «тулку» и продал, что не с кем в компании, значит, на охоту сбегать...

А когда шли уже по улице, возвращаясь к дому Фирсова, Пронин догнал нас и, запыхавшись, поведаль:

– Совсем из головы вон! У меня недели две назад Толик Шкандыбин порох и дробь одалживал – патронов на пять. Я еще его спросил: «Ты что, полевать задумал?» А он говорит: «В деревню собираюсь, может, и поброжу по лесу с ружьишком. Там охота, – говорит, – раньше богатая была».

– Так у него ружье есть, выходит? – спросил Жеглов, иронически взглянув на Воробьихина.

– Нету, нету у него ружья, – торопливо сказал Пронин. – Я потому и забыл про него. У деда, говорит, двустволка, он колхозную конюшню сторожит.

Жеглов одобрительно похлопал Пронина по плечу и отпустил его. Воробьихин сказал задумчиво, вполголоса, будто сам с собой советовался:

– Вот Шкандыбин – это как раз шпана отпетая. Сидел не раз и поныне элемент уголовный. И живет с Фирсовым по соседству...

– Какие-нибудь счеты, споры между ними были? – деловито спросил Жеглов.

– Насчет этого не скажу, не слыхал. Заявлений от граждан не было.

Похоже было, что Жеглову надоел бестолковый участковый, потому что он сказал веселозло:

– Слушай, Воробьихин, ты, вообще-то, для чего здесь проедаешься, а? Насчет этого ты не слыхал, того не видал, прочего не знаешь, а в остальном не в курсе дела.

Воробьихин обиженно скривил рот, забубнил что-то в свое оправдание, но Жеглов больше его не слушал. Он шел по улице широким, размашистым, чуть подпрыгивающим

шагом, за ним безнадежно пытался угнаться участковый Воробьихин, который перестал интересоваться Жеглова, словно и не существовало его никогда, и не говорили они ни о чем, и сроду нигде не встречались.

Именно тогда, в тот вечер, мне впервые пришло в голову, что Жеглов никогда не остановится на полпути, и человеку, чем-либо разочаровавшему или рассердившему его, лучше отступить с дороги. И тогда, в тот незапамятно далекий вечер, я еще не знал, нравится мне это или вызывает глухое раздражение, поскольку меня восхищал жегловский опыт и умение заставить работать всех быстро и с полной отдачей и в то же время пугала способность вот так мгновенно и бесповоротно вычеркнуть человека, словно тряпкой с доски слово стереть.

Войдя в дом, Жеглов спросил жену и соседей пострадавшего:

– Ну-ка, друзья, вспоминайте, думайте, говорите – имел Толик Шкандыбин за что-нибудь зуб на Елизара Иваныча, а?

Жена ничего определенного сказать не могла, но вездесущий сосед сообщил:

– А как же! Была меж них крупная баталия... Толик этот, Шкандыбин, как вернулся последний раз из лагеря, заскучал: дружков его всех почти прибрали ваши, значит, милицеские товарищи. У него только и делов осталось по вечерам ворота подпирать... Теперь завел он новую моду: соберет на лавочке пацанов-малолеток и давай про жизнь блатную, вольготную сказки рассказывать. Пацаны, известно, варежки разевают, а он им, гад, травит и травит. Елизар-то Иваныч сразу сообразил, зачем он компанию себе сколачивает, папиросами да винцом мальчишек угощает. На той неделе проходит Елизар Иваныч мимо сборища этого, услышал – кто-то из мальцов матом кроет. Невтерпеж ему, видать, стало, подходит он к ним и говорит Толику: «Ты вот что, кончай это дело, сам себе живи как хочешь, не маленький, а ребят оставь в покое». А Толик смеется: «Я, – говорит, – их не зову, они сами ко мне липнут, что ж мне, гнать их, что ли?» Ну, Елизар Иваныч в дискуссию с ним вступать не стал, он человек простой, поднес к его роже кулачище свой пудовый и пояснил: «Я тебе слово свое сказал. Не послушаешь – милицию звать не буду, сам тебя отработаю так, что мать родная не узнает!» Шкандыбин вскочил, распахнулся, на губах пена – авторитета, видать, жалко, – и кричит Фирсову: «Ты потише, так твою и растак, пока пера моего не пробовал! Я те все кишки наружу выпущу!» Елизар Иваныч нервничать не стал, вмазал Толику легонько по морде, тот кровью и залился, на ногах не устоял. А Елизар Иваныч ребятишек прогнал по домам, на том все и кончилось...

– Видать, не кончилось, – задумчиво сказал Жеглов и поднялся. – Давайте-ка Толика этого пощекочем...

В дверях появился шофер Копырин – он доложил, что рана, к счастью, оказалась неопасной и через недельку-другую врачи обещают Фирсова выписать.

– Мелкий текущий ремонт, – заверил Копырин. – Смена масла, шприцовка, шпаклевка, легкая подкраска – и пожалуйста в рейс...

– Какого масла? – испугалась жена.

Жеглов засмеялся.

– Не обращайтесь внимания – наш Копырин уверен, что Господь Бог сотворил человека по образу и подобию автомобиля...

Я нетерпеливо дернул Жеглова за руку:

– Не смотается Шкандыбин-то, пока мы здесь толчемся?

– Идем, идем, – кивнул Жеглов и сказал соседу: – А тебя, дружок, попрошу проводить нас к этому деятелю...

Подойдя к дому Шкандыбина, Жеглов остановился.

– Иди с Абреком вперед, – сказал он проводнику. – Пусть пес его облает хорошенько.

– Глеб Георгиевич, шутите? – укоризненно спросил Алимов. – Абрек на кого попало лаять не станет. Если бы его след вывел...

– Если бы след вывел, – нетерпеливо перебил Жеглов, – я бы Шкандыбина сам облаял получше твоего пса. Делай что говорят!

– Есть, – сказал проводник, поджав и без того тонкие сухие губы, пошел вперед, и по лицу его я видел, что он все равно поступит по-своему.

Абрек, войдя в комнату, заворчал и разок гавкнул, но сделано это было, по-моему, чисто формально, только чтобы команду проводника выполнить. Однако чернявый парень, развалившийся на кровати, покрытой лоскутным одеялом, отнесся к появлению огромной собаки иначе. Он сел и, глядя с опаской на пса, спросил нахально и в то же время трусливо:

– Чего надо? Кто такие?

Поскольку вместе с оперативниками в комнату вошел Воробьихин, вопрос его прозвучал фальшиво; парень, видно, сообразил это, сморщился, как от кислого, и сказал протяжно:

– Ну что вяжете? Нет за мной ничего, я в артели работаю...

– Одевайся, Шкандыбин, – тихо, зловеще сказал Жеглов. – Мы из МУРа...

– Вижу, что не из церкви. И чего вы ко мне липнете?

– Одевайся, тебе говорят, – еще тише сказал Жеглов, и я вдруг заметил, что сам испугался голоса своего шефа. Видимо, побоялся спорить и Шкандыбин – молча натянул штаны, обул щегольские сапоги гармошкой, взял со стула пиджак.

– А теперь скажи нам, друг ситный, где ружье, – спокойно предложил Жеглов.

– Нет у меня никакого ружья, – быстро ответил Шкандыбин. – Хоть весь дом обыщите!

– Обыщем, – пообещал Жеглов. – Но лучше сэкономь нам время – тебе же зачтется. Помоги, как говорится, следствию...

– Я сказал – нету. Ничего такого у меня в доме нет.

– Тараскин, присмотри за ним, – распорядился Жеглов. – А мы поищем...

Обыск еще продолжался, когда в комнату вошел Шесть-на-девять и молча положил перед Жегловым газету. Жеглов распорядился очистить стол, развернул на нем газету, и я увидел, что это старый номер «Вечерней Москвы» за второе сентября с дырочками от подшивки на полях. Жеглов погладил газету, спросил Шкандыбина равнодушно:

– «Вечернюю Москву» читаешь?

– На кой мне? – отозвался Шкандыбин. – Я папиросы курю.

– Понял, – сказал Жеглов, подошел к платяному шкафу, который я уже осматривал, и вытянул бельевой ящик. В ящике лежали рубашки, носки, майки. Жеглов, брезгливо оттопырив мизинец, вытащил их, достал из ящика застеленную на фанерном дне газету с грубо оборванным листом. – Сам газетку застилал или попросил кого?

– Сам, – сказал с удивлением Шкандыбин.

– Чудненько, – кивнул Жеглов, оглядел внимательно газету и, положив ее на стол, разгладил поверх «Вечерней Москвы». Я оторвался от этажерки, которую в это время осматривал, подошел к столу. Газета из ящика тоже была «Вечерней Москвой», а взглядевшись, я с удивлением обнаружил, что и она за второе сентября.

– Иди-ка сюда, Шкандыбин, смотри и слушай меня внимательно, – сказал Жеглов. – Вот эту газету я велел привезти мне из редакции еще до обыска, она за второе сентября. У тебя из ящика мы добываем такую же газету, гляди, гляди. Так?

– Так, – хмуро кивнул Шкандыбин.

– Вот и спрашивается, каким же макарон я так в цвет попал, а?

– Не знаю, – пожал плечами Шкандыбин.

– Ты вот что, мил друг, плечиком не дергай, когда тебя Жеглов спрашивает. Ты думай и отвечай по делу!

– Да я, ей-богу, не знаю! – взмолился Шкандыбин, и было видно, что ему и в самом деле невдомек, как такое могло случиться. Не понимал пока и я, к чему ведет Жеглов.

– Ну, не знаешь – сейчас узнаешь, – пообещал Жеглов и кивнул Грише: – Давай сюда конверт!

Шесть-на-девять протянул Жеглову конверт, Жеглов вынул из него неровный клоч газетной бумаги.

– Видишь, бумажка эта была сильно смята, а потом разглажена, – сказал Жеглов. – Это мы ее разгладили. А до того, как мы ее разгладили, вот этот товарищ... – Жеглов показал на меня, – нашел ее в скомканном и слегка подпаленном виде под окном товарища Фирсова, тобою подстреленного...

Говоря все это, Жеглов примерял обрывок к верхней газете, к неровному ее краю. Когда наконец в одном месте обрывок аккуратно сошелся с краем, Жеглов довольно ухмыльнулся:

– Бумажечка скомканная – это пыж, дорогой мой гражданин Шкандыбин, пыж из твоего ружьишка, которое мы теперь, несомненно, разыщем. Погляди, полюбуйся, как бумажечка к твоей газете подходит, – вот отсюда, с этого самого местечка, ты ее и оторвал, когда снаряжал свой поганый патрончик. Да не вышло – с МУРом, брат, шутки плохи!..

– Сколько скостят, если я ружье сам выдам? – глухо спросил Шкандыбин.

– А вот это уже мужской разговор. Я ж тебе с самого начала предлагал нам сэкономить время, – коротко всхрикнул Жеглов и уверенно закончил: – Третью, я думаю, скостят непременно, сам позабочусь!..

Стемнело совсем. За окном не переставая моросил мелкий слякотный дождик, в кабинете было холодно, у меня даже ноги замерзли, и, когда я сказал об этом, Жеглов рассмеялся: «Зато летом будет не жарко, с улицы раскаленной сюда вваливаешься, как в рай божий...» Это не слишком меня утешило, но отвлекаться было некогда – вызов следовал за вызовом, телефон звонил непрерывно.

– Я отлучусь ненадолго, – сказал Жеглов, одернул гимнастерку, причесался перед зеркалом, вделанным почему-то во внутреннюю дверцу сейфа, и испарился.

Не успели еще затихнуть его шаги в длинном коридоре, как зазвонил телефон.

Я снял трубку:

– Оперуполномоченный Шарапов слушает.

Докладывал дежурный из 37-го отделения:

– Явился к нам тут гражданин один, сам он строитель. Сегодня ремонтировали домишко на Воронцовской, и в стене, под штукатуркой, как дранку вырвали, тайник обнаружился, а в нем банка стеклянная... Алло...

– Слушаю, слушаю, – торопливо сказал я.

– Двадцать золотых десятков захоронено, николаевских...

– Ну?..

– Напарник этого гражданина – он же первый банку и вытащил – дал ему пять червонцев и велел помалкивать. А остальное золотишко себе забрал. Какие будут указания?

– А какие указания? – удивился я. – Брат надо этого шкурника с поличным, и все дела...

– Есть! – сказал дежурный и положил трубку.

И вот тут-то меня взяло сомнение: сегодня я уже не раз имел случай убедиться, что некоторые вещи, которые выглядели бесспорными и очевидными, с точки зрения уголовного розыска оказывались не такими уж простыми и требовали решений, вовсе не обязательно вытекавших из житейского опыта. Я еще подумал, что дежурный 37-го отделения не первый, наверное, день в милиции, а счел нужным запросить указаний, значит дело не представляется ему таким простым, как мне кажется... Я покряхтел немного и набрал номер нашего коммутатора, вызвал тридцать седьмое. Дежурный отозвался немедленно.

– Алло, – сказал я натужно и покашлял. – Это Шарапов из МУРа, насчет золотишка...

– Сей секунд выезжаем, – отрапортовал дежурный.

– А ты погоди, – сказал я. – Тут, может, с кондачка решать не стоит. Я, понимаешь, человек здесь новый...

– Да-а? – радостно удивился дежурный. – Вот и я тоже новый, вторую неделю всего-то и дежурю, таких дел еще не встречалось! И начальства никакого, как на грех, нету...

– Вот и погоди, – степенно сказал я. – А то мы с тобой еще наворотим, чего, может, не надо. Я сейчас посоветуюсь, не отходи...

Я положил трубку на стол и пошел в соседний кабинет к Тараскину, который только что вернулся из ресторана «Москва», где две подвыпившие компании схлестнулись между собою в просторном вестибюле. Сейчас он, набычившись, вел душеспасительную беседу с ярко размазанной девицей, из-за которой весь сыр-бор разгорелся. Девица безутешно рыдала, а Тараскин строго отчитывал ее:

– Пришла с людьми – води себя как положено. А то что же получается? Глазки посторонним строишь, можно сказать, авансы раздаешь, вместо того чтобы в свою, значит, тарелку глядеть...

– Тараскин, пошептаться бы, – сказал я. Это словечко – «пошептаться» – я услышал от Жеглова, и оно чем-то мне понравилось, потому что шептаться при людях всерьез вроде неловко, а если сказать как бы в шутку, тогда ничего, можно.

– Котова, выйди в коридор на минуту, – сказал Тараскин девице, та мгновенно перестала рыдать, поднялась, и я с изумлением увидел, что ее нарядное платье расплосовано чуть ли не до пояса, а в руках толстая красивая коса, видать накладная, вырванная из прически в драке.

Я торопливо изложил суть вопроса, и Тараскин, ни на секунду не задумываясь, продемонстрировал, явно подражая жегловским интонациям:

– Сокровище, то есть клад, сокрытый в земле или в стене, есть единая и неделимая собственность государства. Как таковая, подлежит обязательной сдаче органам власти за вычетом вознаграждения нашедшему. Присвоение клада карается по закону. – Тараскин передохнул и сказал уже обычным своим голосом: – Указание ты, Шарапов, дал правильное, нас – в масштабе МУРа – это происшествие не касается. Продолжай в том же духе. Эй, Котова, заходи!..

Я закончил разговор с дежурным и вернулся к методическому письму по криминалистике, в котором излагались неотложные действия следователя в случае обнаружения фактов незаконного пользования знаками Красного Креста и Полумесяца. К тому времени, когда я освоил методику расследования этого преступления, пришел Жеглов – свежевыбритый, благоухающий одеколоном «Кармен», сверкающий белоснежным полотняным подворотничком. Он открыл сейф, снова покрасовался перед засекреченным зеркалом, явно остался собою доволен, поскольку, захлопывая дверцу, запел, сильно фальшивя: «Первым делом, первым делом самолеты... Ну а девушки? А девушки потом...» Прошелся, скрипя блестящими сапогами, по кабинету, остановился передо мною:

– Ну что, друг ситный? Служим?

– Служим, – невозмутимо сказал я.

– А тем временем у Ляховского «эмку» украли.

– Чего? – спросил я. – Какую «эмку»?

– Обыкновенную. Легковой лимузин М-1, довоенная цена девять тысяч рублей. Не в том дело...

– А в чем?.. – не понял я.

– А в том, у *кого* украли. Герой, орденосец, летчик Ляховский – знаешь?

– О-о! Я сразу и не сообразил. Как же это получилось?

– Очень просто...

Зазвонил телефон. Дежурный сообщил Жеглову, что на Масловке, около «Динамо», горит одноэтажный дом.

– Деревянный? – переспросил Жеглов. – Сильно горит?

Дежурный подтвердил, что дом деревянный и горит сильно.

– Пока доедем, сгорит, значит, совсем, а?

Дежурный подтвердил и это.

– Значитца, так, – сказал Жеглов. – Пока криминала не видно, нам там делать нечего: пусть занимается доблестная пожарная охрана...

– Да я что, – сказал дежурный. – Я так, к сведению...

– Ну бывай...

Жеглов положил трубку и сказал мечтательно:

– Была у начальства одна мысль толковая – разделить службы, чтобы карманниками один отдел занимался, домушниками – другой, аферистами, там, валютчиками – третий, бандитами, вот как наш, – четвертый... Ан нет, всякую мелочь на тебя валят, нет времени про главное подумать...

– Так у нас и есть ОББ – отдел борьбы с бандитизмом? – удивился я. – Так или нет?

– Так, да не так. Сам видишь, чем занимаешься.

– Вижу, – сказал я. – Но ведь дежурство сегодня. И потом, бандиты небось не в парниках выводятся. Они, я полагаю, с другими всякими жуликами связаны, помельче...

Жеглов изогнул соболиную бровь:

– Ну-ка, ну-ка...

– Я к чему веду? – немного смущенно сказал я. – Ведь вот на фронте, скажем, артиллеристы, пехота, разведка, ну и так далее – они в полном контакте действуют: артиллерия огоньку подбросит, пехота живой силой поддержит, разведка сведения доставит... А враг и там разнообразный – и мелочь всякая бывает, ну вроде, скажем, карманников, и крупный зверь водится, – например, помню, отборная егерская часть против нас стояла, действительно головорезы, их в одиночку, как говорится, голыми руками, не возьмешь.

Жеглов поставил ногу на стул, подтянул щегольской сапог, чтоб не морщил, одобрителем оглядел его, сказал:

– Ты вот представь, что тебя, вместо того чтобы за егерем-головорезом послать, в тыл за сапогами направили, а?..

– А что? И такое бывало, подобное, – невозмутимо сказал я. – Солдат без сапог – не солдат, личный состав должен быть одет, обут, накормлен и так далее. Не все же на переднем крае геройствовать... Карманник, я так понимаю, он тоже людям здорово настроение портит.

– Ох и каша у тебя в голове! – ухмыльнулся Жеглов. – И главное, на всякий случай теория. На фронтовом, так сказать, опыте...

Я хотел возразить, но снова зазвонил телефон, и Жеглов, выслушав, объяснил собеседнику, не особенно стесняясь в выражениях, что тот звонит в МУР, который не то что игнорирует кражи голубей из отдельно взятых голубятен, а имеет некоторые свои, *специфические* задачи по искоренению особо тяжких преступлений, тогда как отделения милиции на то и существуют, чтобы оперативно разбираться с фактами местного масштаба.

– ...А то вы скоро совсем мышей перестанете ловить. – Жеглов искоса глянул на меня, и я понял, что лекция предназначалась главным образом мне.

Рассудив, что еще успею вернуться к спорному вопросу, я спросил:

– Так что с «эмкой» Ляховского?

– А-а, с «эмкой»... Заехал он, значит, домой переодеться...

Дверь отворилась, заглянул дежурный:

– Жеглов, на выезд! Квартирная кража в Печатниковом переулке...

Закончили дела около трех часов ночи. Однако в коридорах Управления людей не только не стало меньше, чем днем, но, пожалуй, суета еще усилилась. Во всех кабинетах горел свет, сновали туда и обратно сотрудники в форме и в штатском, конвойные милиционеры без конца

водили задержанных воров, спекулянтов, изо всех дверей доносился булькающий гул голосов, а из крайнего кабинета раздавался истошный завывающий вопль грабителя Васки Колодяги, симулирующего эпилептический припадок. Я был еще в дежурной части, когда привезли Колодягу и он начал заваривать волюнку.

Я пошел в туалет, открыл водопроводный кран и долго с фырканьем и сопением умывался, и мне казалось, что ледяные струйки, стекающие за воротник, хоть немного смывают с меня невыносимый груз усталости сегодняшнего долгого дня. Потом расчесал на пробор волосы – в зеркале они казались совсем светлыми, почти белыми, и дюралевая толстая расческа с трудом продиралась сквозь мои вихры, – утерся носовым платком и пошел к Жеглову.

Видать, даже его за последние двое суток притомило. Он сидел за своим столом, сосредоточенно глядя в какую-то бумагу, но со стороны казалось, будто написана она на иностранном языке, – так напряженно всматривался он в текст, пытаясь проникнуть в непонятный смысл слов. Я подошел к столу, он поднял на меня ошалелые глаза, сказал:

– Все, Володя, конец, отправляйся спать. Завтра с утра ты мне понадобишься – молодым и свежим!

– А ты что?

– Вон на диване сейчас лягу. Мне в общежитие на Башиловку ехать нет смысла. А ты-то где живешь?

– На Сретенке.

– Молоток! Хорошо устроился.

– Пошли ко мне спать. Тут тебе и вздремнуть не дадут – вон гам какой стоит!

– Ну, на гам, допустим, мне наплевать с высокой колокольни. Кабы дали, я бы под этот гам часов тридцать и глаз не открыл. Но дома спать лучше. А у тебя душ есть?

– Есть. Да что толку – воду в колонке надо подогревать.

– Это мне начхать, и холодной помоюсь. В общежитии неделю никакой воды нет. А на твоей жилплощади кто еще проживает?

– Я один, место есть. Выделю тебе шикарный диван.

Жеглов отворил сейф, достал оттуда и протянул мне три книжки:

– Возьми их и читай каждую свободную минуту – это сейчас твой университет. Вложи в них чистый лист бумаги и все, что тебе непонятно, записывай, потом спросишь. А коли дома читать будешь, хотя на это надежды мало, в тетрадочку конспектируй...

На дне сейфа он отыскал еще две плоские банки консервов, засунул в карманы пиджака и стал одеваться, а я листал книжечки. «Уголовный кодекс РСФСР», «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», «Криминалистика». Кодексы были небольшого формата, толстенькие, с бесчисленным количеством статей, и в каждой много пунктов и параграфов, я прямо ужаснулся при мысли, что все их надо выучить наизусть. В «Криминалистике» хоть, по крайней мере, было много картинок, но все они тоже были невеселые: фотографии повешенных, зарезанных, слепки следов, обрезки веревок и проводов, наверное висельных, изображения разных марок пистолетов, всевозможных ножей, кастетов, какие-то схемы и таблицы.

– Пошли? – спросил Жеглов.

Я рассовал книжки по карманам и, направляясь к двери, сказал:

– Слушай-ка, Жеглов, неужели ты все это запомнил?

– Ну, более-менее запомнил – нам без этого никак нельзя. Закон точность любит, на волосок сойдешь с него – кому-то серпом по шее резанешь.

– А ты где учился? Что закончил?

Жеглов засмеялся:

– Девять классов и три коридора. Когда не курсы в институте заканчиваешь, а живые уголовные дела, то она – учеба – побыстрее движется. А вот разгребем с тобой эту шваль, накупь

человеческую, тогда уж в институт пойдем, дипломированными юристами будем. Знаешь, как называется наша специальность?

– Нет.

– Правоведение! Вот так-то!

– Ну, пока еще из меня правовед...

– Запомни, Шарапов, главное в нашем деле – революционное правосознание! Ты еще права не знаешь и знать не можешь, но сознательность у тебя должна быть революционная, комсомольская! Вот эта сознательность и должна тебя вести, как компас, в защите справедливости и законов нашего общества!..

На лестнице было пусто и сумрачно, и от этого слова Жеглова звучали очень громко; гулко перекатывались они в высоких пролетах, и со стороны могло показаться, что Жеглов говорит с трибуны перед полным залом, и я невольно оглянулся посмотреть, не идет ли следом за нами толпа молодых сотрудников, которым усталый, возвращающийся с дежурства Жеглов решил дать пару напутственных советов.

Мы зашли в дежурку, где сейчас стало потише и Соловьев пил чай из алюминиевой кружки. Закусывал он куском черного хлеба, присыпанного желтым азиатским сахарным песком.

Жеглов написал что-то в дежурном журнале своим четким прямым почерком, в котором каждая буква стояла отдельно от других, будто прорисовывал он ее тщательно тоненьким своим перышком «рондо», хотя на самом деле писал он очень быстро, без единой помарки, и исписанные им страницы не хотелось перепечатывать на машинке. И расписался – подписью слитной, наклонной, с массой кружков, крючков, изгибов и замкнутой плавным округлым росчерком, и мне показалась она похожей на свившуюся перед окопами «спираль Бруно».

– Ну, Петюня, прохлаждаешься? – протянул он, глядя на Соловьева, и я подумал, что Глебу Жеглову, наверное, досадно видеть, как старший лейтенант Соловьев вот так праздно сидит за столом, гоняя чай с вкусным хлебом, и нельзя дать ему какое-нибудь поручение, заставить сделать что-нибудь толковое, сгонять его куда-нибудь за полезным делом – совсем бессмысленно прожигает сейчас жизнь Соловьев.

Рот у дежурного был набит до отказа, и он промычал в ответ что-то невразумительное. Жеглов блеснул глазами, и я понял, что он придумал, как оправдать беспорядочное ночное существование Соловьева.

– А откуда у тебя, Петюня, такой распрекрасный сахар? Нам такой на карточки не отоваривали! Давай, давай колись: где взял сахар? – При этом Жеглов смеялся, и я не мог сообразить, шутит он или спрашивает всерьез.

Соловьев наконец проглотил кусок, и от усердия у него слезы на глазах выступили.

– Чего ты привязался – откуда, откуда? От верблюда! Жене сестра из Коканда прислала посылку! Человек ты въедливый, Жеглов, как каустик!

Жеглов уже отворял один из ящичков его стола, приговаривая:

– Петюня, не въедливый я, а справедливый! Не всем так везет – и главный выигрыш получить, и золотку иметь в Коканде! Вот у нас с Шараповым родни – кум, сват и с Зацепы хват; и выигрываю я только в городки, поэтому мы с трудов праведных и чаю попить не можем. Так что ты уж будь человеком, не жадись и нам маленько сахарку отсыпь...

Соловьев, чертыхаясь, отсыпал нам в кулек, свернутый из газеты, крупного желтого песка, и, пока он был поглощен этим делом, понукаемый быстрым жегловским баритончиком: «Сыпь, сыпь, не тряс руками, больше просыплешь на пол», Жеглов вынул из кармана складной нож с кнопкой, лезвие из ручки цевкой брызнуло, быстро отрезал от соловьевской краюхи половину и засунул в карман.

Соловьев сердито сказал:

– Знаешь, Жеглов, это уже хамство! Мы насчет хлеба не договаривались...

– Мы насчет сахара тоже не договаривались, – засмеялся Жеглов. – Скарденный ты человек, Петюня, индивидуалист, нет в тебе коллективистской жилки. Нет чтобы от счастья своего, дуриком привалившего, купить отделу штук сто батончиков коммерческих! Комсомольская организация с тобой недоработала, надо будет им на это указать!

– Ты на себя лучше посмотри! – недовольно пробормотал Соловьев. – Вместо того чтобы спасибо сказать, оскорбил еще...

– Вот видишь, Петюня, и с чувством юмора у тебя временные трудности. Нет чтобы добровольно поделиться с проголодавшимися после тяжелой работы товарищами...

– А я тут что, на отдыхе, что ли? – спросил Петюня и улыбнулся, и я видел, что вся его сердитость уже прошла и что удалство и нахрапистость Жеглова ему даже чем-то нравятся – наверное, глубинным сознанием невозможности самому вести себя таким макаром, чтобы чужой хлеб располовинить и тобой же довольны остались.

– У тебя, Петюня, работа умственная, на месте, а у нас работа физическая, целый день на ногах, так что нам паек должны были бы давать побольше. А засим мы тебя обнимаем и пишем письма – пока! Да, чуть не забыл, утром придет Иван Пасюк, скажи ему, чтобы никуда не отлучался, он мне понадобится...

В дверях я оглянулся и увидел, что на круглом веснушчатом лице Соловьева плавают благодушная улыбка и покачивает он при этом слегка головой с боку на бок, словно хочет сказать: ну и прохвост, ну и молодец!..

На улице сразу прохватило мокрым, очень резким ветром, и мы шли к бульвару, наклоняясь вперед, чтобы ветром не сорвало кепки. На полдороге к Трубной площади нас догнал какой-то шальной ночной трамвай, пустой, гулкий, освещенный внутри неприятными дифтеритно-синими лампами. На ходу вскочили на подножку, и до самой Сретеньки Жеглов лениво любезничал с молоденькой девчонкой-вагоновожатой.

Вошли ко мне, я щелкнул выключателем, и Жеглов быстро окинул комнату глазом – от двери до окна, от комода до кровати, словно рулеткой промерил, – потом, не снимая плаща, устало сел на стул и сказал довольно:

– Хоромы барские. Как есть хоромы. В десяти минутах ходу от работы. Ты не возражаешь, я у тебя поживу немного? А то мне таскаться на эту Башиловку проклятую, в общежитие – душа из него вон, – просто мука смертная! Времени и так никогда нет, а тут как дурак полтора часа в день коту под хвост. Значитца, договорились?

– Договорились, – охотно согласился я. Жить вместе с Жегловым будет гораздо веселее, да и вообще Жеглов казался мне человеком, рядом с которым можно многому научиться.

– Ты как насчет того, чтобы подзаправиться перед сном? – спросил Жеглов. – У меня кишка кишке фики показывает.

Я отправился в кухню ставить чайник, а Жеглов выложил на стол кулек с сахаром, краюху хлеба, банки с американским «ланчен мит». На днищах ярких жестяных коробочек были припаяны маленькие ключики. Жеглов крутил ключик, сматывая на него ленту жести быстро и в то же время осторожно, и оттого что держал он банку перед глазами, мне казалось, что он заводит мудреные часы и следит внимательно, чтобы, не дай бог, не перекрутить пружину, иначе часы сломаются навсегда. Но Жеглов справился с пружиной хорошо – звякнула крышка, и он выдавил на тарелку кусок неестественно красного консервированного мяса, которое видом и запахом не похоже было ни на какие наши консервы.

– Говорят, их американцы из китового мяса делают специально для нас. – Я зачарованно глядел на мясо и чувствовал, как слюна терпкой волной заполняет рот.

– Уж наверное не из парной говядины, – мотнул головой Жеглов. – Они говядинку сами жрать здоровы. Ух и разжиреет на нашей беде мировой империализм! Нам кровь и страдания в войне, а им барыши в карман!

– Это как водится, – кивнул я, с наслаждением глотая очень вкусные консервы. – Мы им в июле в городке Обермергау передавали «студебеккеры», что по ленд-лизу за нами числились. Так они их требовали в полном порядке и комплекте, без гайки одной – не примут. А потом они их на наших глазах прессом давили. Свинство!

– Во-во! А у нас в деревнях бабы на себе да на коровах пашут, мать мне недавно отписала, как они там вкалывают, хозяйство поднимают. Да ничего, погоди маленько, понастроим своих машин, получше их «студеров». Будет еще такая пора, это я тебе, Шарапов, точно говорю: каждый трудящийся сможет зайти в универмаг и купить себе лимузин. Ты-то сам в автомобилях смекаешь? Любишь это дело?

– Очень! Для меня машина – как существо живое, – сказал я.

– Ну, тогда будет тебе со временем машина, – пообещал твердо Жеглов и распорядился: – Давай волокни сюда чайник... Очень вкусная китятина, ничего не скажешь...

Выпили сладкого чая, который от желтого песка чуть-чуть припахивал керосином, съели толстые ломти бутербродов. Жеглов встал, хрустко потянулся, сказал:

– Я на диване спать буду, не возражаешь?

Быстро разделись, улеглись, и я обратил внимание, что Жеглов совершенно автоматическим жестом вынул из кобуры пистолет – черный длинный парабеллум – и сунул его под подушку.

Уже в темноте, умываясь под одеялом, я сказал:

– А хорошо ты сегодня отработал Шкандыбина...

– Это которого? Того болвана, что из ружья пальнул?

– Ну да! Как-то все у тебя там получилось складно, находчиво, быстро. Понравилось мне! Вот бы так научиться!

– Научишься. Это все не дела – это семечки. Тебе надо главное освоить: со свидетелями работать. Поскольку в нашем ремесле самое ответственное и трудное – работа со свидетелями.

– Почему? – Я приподнялся на локте.

– Потому что, если преступника поймали за руку, тебе и делать там нечего. Но так редко получается. А главный человек в розыске – свидетель, потому что в самом тайном делишке всегда отыщется человек, который или что-то видел, или слышал, или знает, или помнит, или догадывается. А твоя задача – эти сведения из него вытрясти...

– А почему же ты умеешь добывать эти сведения, а Коля Тараскин не умеет?

Темнота прошелестела смехом.

– Потому что, во-первых, он еще молодой, а во-вторых, не знает шесть правил Глеба Жеглова. Тебе, уж так и быть, скажу.

– Сделай милость. – Я заранее заулыбался, полагая, что он шутит.

– Запоминай навсегда, потому что повторять не стану. Первое правило, это как «Отче наш»: когда разговариваешь с людьми, чаще улыбайся. Первейшее это условие, чтобы нравиться людям, а оперативник, который свидетелю влезть в душу не умеет, зря рабочую карточку получает. Запомнил?

– Запомнил. Вот только щербатый я слегка – это ничего?

– Ничего, даже лучше, от этого возникает ощущение простоватости. Теперь запомни второе правило Жеглова: умей внимательно слушать человека и старайся подвинуть его к разговору о нем самом. А как следует разговаривать человека о нем самом, знаешь?

– Трудно сказать, – неуверенно пробормотал я.

– Вот это и есть третье правило: как можно скорее найди в разговоре тему, которая ему близка и интересна.

– Ничего себе задачка – найти интересную тему для незнакомого человека!

– А для этого и существует четвертое правило: с первого мига проявляй к человеку искренний интерес, – понимаешь, не показывай ему интерес, а старайся изо всех сил проник-

нуть в него, понять его, узнать, чем живет, что из себя представляет; и тут, конечно, надо напрячься до предела. Но коли сможешь, он тебе все расскажет...

Голос Жеглова, мятый, сонный, постепенно затухал, пока не стих совсем. Он заснул, так и не успев рассказать мне остальных правил. Спал он совершенно неслышно – не сопел, не ворочался, со сна не говорил, ни единая пружинка в стареньком диване под ним не скрипела, – и, погружаясь в дрему, я успел подумать, что так, наверное, спят – беззвучно и наверняка чутко – большие сильные звери...

РОЗНИЧНЫЕ СКЛАДЫ МОСГОРТОПСНАБА ПОЛНЫ ДРОВ

Москвичи могут получать топливо без спешки, без опасения, что его не хватит. Однако вполне естественно, что каждый покупатель дров не хочет откладывать это дело, – наступают холода. Поэтому на складах сейчас царит оживление...

«Вечерняя Москва»

Первые дни работы в МУРе ошеломили меня количеством событий, людей, тем потоком человеческих горестей и бед, которые суждено отныне мне разбирать, устанавливать, решать и возмещать. Мои туманные представления о работе уголовного розыска были в один день уничтожены – романтики в охране справедливости и людской безопасности было совсем мало, а был изнурительный труд, бессилие незнания, неловкость от ощущения своей бесполезности, обузности для бригады. И еще опасение, что мне никогда не обрести бронебойной хитрости и цепкости Жеглова, неспешной, но всегда неожиданной сметливости Пасюка, настырной энергичности Тараскина...

Но прошел еще один день, за ним – следующий, потом закончилась неделя без выходного, и эти мысли как-то сами по себе ушли: для них просто не оставалось времени, целый день на работе не было ни минуты свободной, а когда за полночь мы возвращались с Жегловым домой на Сретенку, то не оставалось сил даже чаю выпить – камнем падал я в глухой, вязкий, как нефть, без сновидений сон, чтобы вынырнуть из него полуоглушенным от глубокого забытья под душераздирающий треск старого будильника, подаренного мне Михал Михалычем.

Жеглов уже подружился со всеми обитателями квартиры. Шурка Баранова смотрела на него с восхищением, потому что он был не только «исключительно представительной внешности», но и сумел уговорить ее мужа – пьяницу и скандалиста Семена. В первый же раз, как только Семен напился и начал безобразничать, Жеглов вышел на шум в коридор, каким-то перехватывающе-мягким движением вывернул ему руку, плавно усадил в очень неудобной позе на пол и сказал негромко, но внятно – Семен-то его наверняка понял:

– Еще раз хвост поднимешь – услышу я, или Шурка пожалуется, что ты ее лупил, – в тот же миг я тебя посажу. Ты, черт гутнивый, уже года полтора на свободе лишнего ходишь.

То ли тихий и злой голос Жеглова подействовал, то ли унижительность положения, в которое он так мгновенно и легко был приведен, – во всяком случае, Семен, даже напившись, воздерживался буянить.

Другим соседям Жеглов нравился за аккуратность и чистоплотность – по утрам он влезал в ванну и поливался из душа ледяной водой, оглушительно ухая, крикая и даже подвизгивая от удовольствия и холода. Потом он выходил на кухню и, пока заваривался кофе или вскипал чайник, ставил длинную стройную ногу на табурет и наводил окончательно солнечное сияние на свои хромовые офицерские сапоги. Он еще даже и рубашки на голубую майку не натягивал, а пистолет был уже в кобуре на поясе его галифе. И соседи косились на кобурку опасливо и уважительно, и вообще он им был сильно симпатичен: хоть и был он явно большой начальник, но все-таки простой и к ним, людям маленьким, вполне снисходительный и даже доступный – мог пошутить или из своей необыкновенной жизни рассказать что-нибудь поучительное и интересное.

Один лишь Михал Михалыч держался с Жегловым как-то отчужденно, сталкиваясь с ним на кухне или в коридоре, бормотал:

– ...Люди, которые повстречали меня на своем пути...

Или что-нибудь совсем малопонятное:

– ...К звездам идут через тернии, но не мимо них... – Наверное, придумывал свои малоформатные шутки.

Всем же остальным соседям Жеглов был по душе. Не было в нем зазнайства или какого-то особого воображения о себе – так и объясняли мне соседи о моем приятеле, и мне нравилось, что так все вышло.

А двадцать первого числа, собираясь утром на работу, Жеглов сказал:

– Ну, Володя, сегодня все дела надо кончить пораньше...

– Почему? – удивился я, хотя и не возражал кончить дела пораньше.

– Сегодня «день чекиста» – получка. А для тебя она в МУРе первая, вот мы и обмоем тебя по всем правилам...

Но закончить в этот день дела пораньше нам не удалось, и обмыть мою первую зарплату мы тоже не смогли, потому что, собственно говоря, и не получили ее тогда, и я даже не представлял, какое значение будет для всей моей жизни иметь этот пасмурный сентябрьский день, и уж тем паче не подозревал, какое он окажет влияние на наши взаимоотношения с Жегловым...

И произошло все потому, что убили в тот день Ларису Груздеву. Вернее, убили ее накануне, а нам только сообщили в этот день, и эксперт так и сказал:

– Смерть наступила часов восемнадцать-двадцать назад, то есть еще вчера вечером...

Когда мы вошли в комнату, то через плечо Жеглова я увидел лежащее на полу женское тело, и лежало оно неестественно прямо, вытянувшись, ногами к двери, а головы мне было не видать, голова, как в детских прятках, была под столом, и одной рукой убитая держалась за ножку стула.

Глухо охнула у меня над ухом, зашлась криком девушка – сестра убитой. «Надя», – сказала она, протягивая Жеглову ладошку пять минут назад, когда мы поднялись уже по лестнице, чтобы вскрыть дверь, из-за которой со вчерашнего дня никто не откликался. Надя оттолкнула меня, рванулась в комнату, но Жеглов уже схватил ее за руку:

– Нечего, нечего вам там делать сейчас! – И, даже не обернувшись, крикнул: – Гриша, побудь с женщиной на кухне!..

А та враз обессилела, обмякла и без сопротивления дала фотографу отвести себя на кухню; ослабевшие ноги не держали ее, и она слепо, не глядя, осела на стул, и крик ее стих, и только булькающие судорожные рыдания раздавались сейчас в пустой и безмолвной квартире.

Из ее объяснений на лестнице я понял, что Надя живет с матерью, а здесь квартира ее сестры Ларисы и они договорились созвониться; она звонила ей вчера весь вечер, никто не снимал трубку, и сегодня никто не отвечал, и она стала сильно беспокоиться, поэтому приехала сюда и с улицы увидела, что на кухне горит свет – а с чего ему днем гореть?..

Дверь вскрыли, вошли в прихожую, тесную, невразворот, и с порога я увидел голые молочно-белые ноги, вытянувшиеся поперек комнаты к дверям. Задрался шелковый голубой халатик, и мне было невыносимо стыдно смотреть на эти закованные стройные ноги, словно убийца заставил меня невольно или вольно принять участие в каком-то недостойном действе, в противоестественном бессовестном разглядывании чужой, бессильной и беззащитной женской наготы посторонними мужиками, которым бы этого вовек не видеть, кабы убийца своим злодейством уже не совершил того ужасного, перед чем становятся бессмысленными и ненужными все существующие человеческие запреты, делающие людей в совокупности обществом, а не стадом диких животных.

Жеглов вошел в комнату, он на мгновение остановился около распростертого на полу тела, будто задумался о чем-то, затем гибко, легко опустился на колени, заглянув под стол, и со

стороны казалось, что он согласился поиграть в эти ужасные прятки и скажет сейчас: «Вылезай, мы тебя увидели», но Жеглов повернулся к нам и сказал эксперту:

– Пулевое ранение в голову. Приступайте, а мы пока оглядимся... Тараскин, понятых, быстро. А потом по всем соседям подряд – кто чего знает...

Мне казалось невозможным что-то делать в этой комнате – ходить здесь, осматривать обстановку, записывать и фотографировать, – пока убитая лежит обнаженной, и я наклонился, чтобы одернуть на ней халат, но Жеглов, стоявший, казалось, ко мне спиной, вдруг резко бросил, ни к кому в отдельности не обращаясь, но я сразу понял, что он кричит это именно мне:

– Ничего руками не трогать! Не прикасаться ни к чему руками...

Я выпрямился, пожал плечами и, чтобы скрыть смущение, уставился на стол, накрытый к чаепитию. На чашке с чаем, чуть начатой, остался еле видный след губной помады, и вдруг резкой волной ощутил я неодолимый приступ тошноты. Я быстро вышел на кухню и стал пить холодную воду, подставив рот прямо под струю из крана; вода брызгала в лицо, и тошнота ослабла, потом совсем прошла, осталось лишь небольшое головокружение и невыносимое чувство неловкости и вины. Я понимал, что приступ вызвал у меня вид мертвого тела, и сам в душе подивился этому: за долгие свои военные годы я повидал такого, что давно должно было приглушить чувствительность, тем более что особенно чувствительным я вроде и сроду не был. Но фронтовая смерть имела какой-то совсем другой облик. Это была смерть военных людей, ставшая за месяцы и годы по-своему привычной, несмотря на всегдашнюю неожиданность. Не задумываясь над этим особенно глубоко, я ощущал печальную, трагическую закономерность войны – гибель многих людей. А здесь смерть была ужасной неправильностью, фактом, грубо вопиющим против закономерности мирной жизни; само по себе было в моих глазах парадоксом то, что, пережив такую бесконечную, такую смертоубийственную, кровопролитную войну, молодой, цветущий человек был вычеркнут из жизни самоуправным решением какого-то негодя...

На кухне громко звучало радио – черная тарелка репродуктора тонко позванивала, резонируя с высоким голосом Нины Пантелеевой, старательно вытягивавшей верха «Тальяночки». Надя, прижимая платок к опухшему от слез лицу, протянула руку, чтобы повернуть регулятор репродуктора. Неожиданно для себя я взял девушку за руку:

– Не надо, оставьте, Наденька, пусть все будет... это... как было...

В кухню заглянул Жеглов:

– Надюша, мне надо вас расспросить кой о чем...

Девушка покорно кивнула.

– Чем занималась ваша сестра?

Надя судорожно вздохнула, она изо всех сил старалась не плакать, но из глаз ее снова полились слезы.

– Ларочка была очень талантливая... Она стать актрисой мечтала... Ей после школы поступить в театральное училище не удалось, это знаете как трудно... Но она занималась все время, брала уроки...

– И не работала?

– Нет, работала. Она устроилась в драмтеатр костюмершей, у нее ведь вкус прекрасный... Ну и училась каждую свободную минуту... Все роли наизусть знала...

Я вспомнил трофейный фильм, который недавно видел: зловредная зазнавшаяся актриса, пользуясь своим влиянием, не допускает талантливую соперницу на сцену. Но перекапризничала однажды и не пришла в театр; режиссер вынужден дать роль девушке, работающей в театре невесть кем – парикмахершей, что ли, – и та блестящей игрой покоряет всех: и труппу, и режиссера, и публику... Цветы, овации, злые слезы поверженной актрисы... Вот и эта бедняга мечтала, наверное, как однажды ее вызовут из костюмерной и попросят сыграть главную роль вместо заболевшей заслуженной артистки.

– А муж ее кто? – спросил Жеглов.

Надя замялась.

– Видите ли... Они с мужем разошлись.

– Да? – вежливо переспросил Жеглов. – Почему?

– Как вам сказать... – пожала плечами Надя. – Женились по любви, три года жили душа в душу... а потом пошло как-то все вкривь и вкось.

– Ага, – кивнул Жеглов. – Так почему все-таки?

– Понимаете, сам он микробиолог, врач... Ну... не нравилось ему Ларочкино увлечение театром... то есть, по правде говоря, даже не совсем это...

– А что?

– Понимаете, театральная жизнь имеет свои законы... свою, ну, специфику, что ли... Спектакли кончаются поздно, часто ужины... цветы...

– Поклонники, – в тон ей сказал Жеглов. – Так, что ли?

– Ну, наверное... – неуверенно согласилась Надя. – Нет, вы не подумайте, ничего серьезного, но Илья Сергеевич не хотел понимать даже самого невинного флирта...

– М-да, ясно... – сказал Жеглов, а я прикинул, что даже легкий флирт мне лично тоже был бы не по душе.

– Ну вот, – продолжала девушка. – Начались ссоры, дошло до развода...

– Они развелись уже? – деловито спросил Жеглов.

– Нет, не успели. Понимаете, Ларочка не очень к этому стремилась, а Илья не настаивал, тем более... – Надя запнулась.

– Что «тем более»? – резко спросил Жеглов. – Вы поймите, Наденька, я ведь не из любопытства вас расспрашиваю. Мне-то лично все ихние дела ни к чему! Я хочу ясную картину иметь, чтобы поймать убийцу, понимаете?

– Понимаю, – растерянно сказала Надя. – Я ничего от вас не скрываю... Видите ли, Илья Сергеевич нашел другую женщину и хотел на ней жениться. А Ларочке это было неприятно, в общем, хотя она его и разлюбила, и разошлись они...

Из комнаты выглянул Иван Пасюк, увидел Жеглова, подошел:

– Глеб Георгиевич, от таку бумаженцию в бухвете найшов, подывытесь. – И протянул Жеглову листок из записной книжки. На листке торопливым почерком авторучкой было написано: «Лара! Почему не отвечаешь? Пора решить наконец наши вопросы. Неужели так некогда или у тебя нет бумаги? Решай, иначе я сам все устрою...» И неразборчивая подпись.

Жеглов еще раз прочитал записку, аккуратно сложил ее и спрятал в планшет, кивнул Пасюку:

– Продолжайте. – И повернулся к Наде. – Так-так. Дальше.

– Да что дальше? Все, – вздохнула Надя.

– Вы кого-нибудь подозреваете? – спросил Жеглов.

– Нет, боже упаси! – воскликнула девушка, подняв к лицу, как бы защищаясь, руки. – Кого же я могу подозревать?

– Ну, хотя бы Груздева Илью Сергеевича, – раздумчиво сказал Жеглов. – Ведь, если я правильно вас понял, Лариса не давала ему развода, а он хотел жениться на другой... А?

– Что-о вы! – выдохнула с ужасом Наденька. – Илья Сергеевич хороший человек, он не способен на... на такое!..

– Ну-у, разве так вот сразу скажешь, кто на что способен?.. Это вы еще в людях разбираетесь слабо... – протянул Жеглов, и я увидел, как вцепились выпуклые коричневые глаза его в Наденькино лицо, как полыхнул в них огонек, уже раз виденный мною в Перовской слободке, когда брал Жеглов Шкандыбина, выстрелившего в соседа из ружья через окно... – У них, у Ларисы с Груздевым то есть, какие сложились отношения в последнее время?

– Отношения известно какие... – сказала Наденька медленно. – Известно, какие отношения, когда люди разводятся.

– Ну вот видите! – сказал Жеглов. – Значитца, так и запишем: плохие отношения.

Но Наденька почему-то заупрямилась, не соглашаясь с выводом Жеглова.

– Конечно, их отношения хорошими не назовешь, – сказала она. – Но Ларочка еще совсем недавно при мне говорила Ире – это приятельница ее по театру, – что интеллигентные люди и расходятся по-интеллигентному: тихо, мирно и вежливо. Илья Сергеевич деньги Ларочке давал, продукты, за квартиру оплачивал...

– А чья квартира? – сразу же спросил Жеглов.

– Квартира его была, Ильи Сергеевича. А когда разошлись, Илья Сергеевич решил, что Ларе неудобно к маме возвращаться, да и тесно там – мы с ней на двенадцати метрах живем...

– И что?..

– Но ему самому тоже деваться некуда, он пока в Лосинке комнатку с террасой у одной бабки снимает. Решили эту квартиру на две комнаты в общих разменять.

– Па-анятно... – протянул Жеглов, и я видел, что какая-то мыслишка плотно засела у него в голове. Жеглов спросил Наденьку, где работает Груздев, и отправил за ним милиционера, наказав ничего Груздеву не сообщать, объяснить только, что какая-то в его доме произошла неприятность. Потом достал из планшетки записку, которую нашел Пасюк, показал ее Наденьке:

– Вам эта рука не знакома?

Наденька прочитала записку, помедлила немного, сказала:

– Это Илья Сергеевич писал...

Не глядя на записку, Жеглов сказал:

– «...Решай, иначе я сам все устрою...» Это он насчет чего, как думаете?

– Я думаю, насчет обмена. Илья Сергеевич нашел вариант, но Ларочке он не очень нравился, и она... ну, никак не могла решиться.

– А сама она не занималась обменом? – спросил Жеглов.

– Не-ет... Вы не знали Ларочку... Она была такая непрактичная... – Наденька судорожно всхлипнула.

– А... мм... скажите... – начал Жеглов медленно, и по лицу его, по сузившимся вдруг глазам я понял, что он напал на какую-то новую мысль. – Скажите, это был первый вариант обмена или...

– Честно говоря, нет, не первый, – сказала Наденька просто. – Илья Сергеевич уже несколько комнат хороших находил, сами понимаете, на отдельную квартиру желающих много...

– Понятно... – протянул Жеглов и принялся заново разглядывать записку, он даже подальше от глаз ее отставил, как это делают дальновзоркие люди, хотя дефектами зрения, безусловно, не страдал. – Угрожает он в этой записочке, как вы считаете?

– Да что вы... – начала Наденька, но в это время на лестничной клетке раздался топот, и Жеглов перебил ее:

– Вы не торопитесь, подумайте... Мы еще потолкуем попозже... А пока, я вас попрошу, походите по квартире, осмотритесь, все ли вещи на месте, не пропало ли что – это очень важно...

Хлопнула входная дверь, и в квартире сразу стало многолюдно: приехал следователь прокуратуры Панков, а за его спиной маячил Тараскин, который привел понятых – дворничиху и пожилого бухгалтера из домоуправления.

– Мое почтение, Сергей Ипатьич, – сказал Жеглов Панкову, и в голосе его мне послышалась смесь почтительности и нахальства.

Панков спустил на кончик носа дужку очков и смотрел на нас поверх стекол, и от этого казалось, что он решил боднуть Жеглова и сейчас присматривается, как сделать это ловчее.

– Здравствуй, Жеглов, – сказал Панков, и в его приветствии тоже неуловимо смешались одобрение и усмешка, – видимо, они давно и хорошо знали друг друга. Потом он оглядел нас и сказал бодро: – Здорово, сыскари, добры молодцы!..

Следователь прокуратуры Панков был стар, тщедушен, и выражение лица у него было сонное. А может, мне так казалось из-за того, что глаза у него все время были прищурены под старомодными очками без оправы. Панков снял и аккуратно поставил в углу прихожей галоши, всюю светившие своей алой байковой подкладкой. И большой черный зонт он раскрыл и приспособил сушиться на кухне. Потом вошел в комнату, мельком глянул на убитую, потер зябнувшие ладони, что-то шепнул Жеглову и наконец распорядился:

– Благословясь, приступим. Слушай мою команду: не суетиться, руками ничего не хватать, обо всем любопытном информировать меня. Начинайте...

Жеглов повернулся ко мне:

– Ты, Шарапов, будешь писать протокол...

– Я?!!

– Конечно ты. Бери блокнот на изготовку, пиши быстро, но обязательно разборчиво. Привыкай...

«...Осмотр производится в дневное время, – записывал я под диктовку Жеглова, – в пасмурную погоду, освещение естественное... комната размером 5 × 3,5 метра, прямоугольная, окно одно, трехстворчатое, обращено на северо-запад... входная дверь и окна в комнате и на кухне к началу осмотра были заперты и видимых повреждений не имеют...»

Немного погодя вышли на кухню перекурить, и я спросил Жеглова, какой толк от старичка Панкова, который, отдав еще несколько распоряжений, на мой взгляд довольно пустяковых, уютно устроился в кресле и, казалось, отключился от всего, происходящего в квартире.

– Э, нет, друг ситный, – сказал Жеглов, – этот старичок борозды не испортит, старый разыскной волк. Он такие убийства разматывал, что тебе и не снилось. Одно – в Шестом проезде рощинском мы вместе раскрывали, обоих нас потом поощрили: по путевке дали в дом отдыха... Да и закон требует, чтобы дела по убийству вела прокуратура. Но это, так сказать, оформление, а розыск, вся оперативная работа все равно за нами остается.

Будто учуяв, что о нем речь, в кухню вошел Панков, положил перед Жегловым на газете продолговатый кусочек металла:

– Ну-с, Глеб Георгиевич, имеется пуля. Какие будут суждения? – И вдруг засмеялся старческим перхающим смехом.

Жеглов достал из кармана лупу, взял у Панкова пинцет и, поворачивая в разные стороны, принялся рассматривать вещдок. Крутил он ее, вертел, присматривался, чуть ли не нюхал, я все ждал, что он ее на зуб попробует. Чего там рассматривать – пуля как пуля, обычная пистолетная пуля...

– Надо гильзу поискать, оно надежней будет... – сказал Жеглов.

Панков, ухмыляясь, заметил:

– Еще лучше было бы посмотреть само оружие...

Жеглов, поскрипывая щегольскими своими сапожками, прошелся по кухне, крепко потер обеими ладонями лоб и сообщил:

– Значитца, так, Сергей Ипатьич: пуля эта – 6,35, от «омеги» или «байярда».

Я от удивления раскрыл рот – каких уж только я пуль не навидался и, конечно, могу отличить винтовочную от револьверной. Но назвать систему оружия – это действительно номер! Как бы сочувствуя мне, Панков скромно спросил Жеглова:

– Из чего сие следует, сударь мой?

– Из пули, Сергей Ипатьич, – хладнокровно сказал Жеглов. – Шесть нарезов с левым направлением, почерк вполне заметный!

– Тогда как вы объясните это? – Панков достал из кармана аккуратный газетный пакетик, развернул его, вынул из ваты гильзу, небольшую, медно-желтую, с отчетливой вмятиной от бойка на доньшке. – Гильза, судя по маркировке, наша, отечественная...

– А где была? – торопливо спросил Жеглов.

– Там, где ей положено, слева от тела; надо полагать, нормально выброшена отражателем.

– Хм, гильза наверняка отечественная. Ну что ж, запишем это в загадки... – Жеглов задумался. – Все равно надо оружие искать. Пошли...

Большая часть комнаты – по стенам – была уже осмотрена, оставался только главный узел – центр комнаты, тело и стол.

Жеглов спросил Надю, было ли в доме оружие. Она покачала головой, молча пожала плечами; тогда Жеглов сказал Пасюку и Грише:

– Разделите между собой помещение и еще раз пройдитесь по всем укромным местам, поищите оружие и все, что к нему может иметь отношение. Быстро! – Потом повернулся ко мне. – Записывай!

«...Квартира чисто убрана, беспорядка ни в чем не наблюдается, по заявлению сестры убитой, предметы обстановки находятся на обычных местах...

...В центре комнаты стол, круглый, покрытый чистой белой скатертью...

...Вокруг стола четыре стула, № 1, 2, 3 и 4 (см. схему). Стулья № 2 и № 4 от стола отодвинуты каждый примерно на 50 см...

...В центре стола – банка с вареньем (по виду вишневым), фаянсовый чайник, нарезанный батон (на ощупь – вчерашний), столовый нож, половина плитки шоколада „Серебряный ярлык“ в обертке...

...На столе против стула № 2 чашка с жидкостью, похожей на чай, наполненная на две трети. На краю чашки след красного цвета – вероятно, от губной помады... Рядом блюдо с вареньем и рюмка, до середины наполненная темно-красной жидкостью – по-видимому, вином...

...На столе против стула № 4 чашка с жидкостью, похожей на чай, полная. Блюдо с вареньем... Рюмка, на дне которой темно-красная жидкость – по-видимому, вино... Бутылка 0,5 л с надписью: „Азербайджанское вино. Кюрдамир“, почти полная, с темно-красной жидкостью, сходной по виду с вином в рюмках... На отдельном блюде – половина плитки шоколада, надкусанная в одном месте... Хрустальная пепельница, в которой находятся три окурка папирос „Дели“ с характерно смятыми концами гильз... Чайная ложка...»

К Жеглову подошла Надя, робко тронула его за руку:

– Извините... Вы просили вещи Ларисы посмотреть...

– Ну?

– Мне кажется... Я что-то не нахожу... У нее был новый чемодан, большой, желтый, и его нигде не видно.

– Ага, понял, – кивнул Жеглов. – А вещи?

– В шкафу была ее шубка под котик... Платье красное из панбархата... Костюм из жатки, темно-синий, несколько кофточек... Я ничего этого не вижу...

– А во всех остальных местах смотрели? Может, еще где лежит?

Наденька залилась слезами:

– Нет нигде, я смотрела... И драгоценности ее пропали из шкатулки. Вот, посмотрите...

Она подвела Жеглова к буфету, открыла верхнюю створку, достала оттуда большую шка- тулку сандалового дерева, инкрустированную буком, откинула крышку – на дне лежали деше- венькие на вид украшения, пуговицы, какие-то квитанции, бронзовая обезьянка.

– Какие именно здесь были драгоценности? – спросил Жеглов деловито.

– Часики золотые... серьги с бирюзой... ящерица...

– Какая ящерица? – переспросил Жеглов.

– Браслет такой, витой, в виде ящерицы с изумрудными глазками... Один глаз потерялся... – пыталась сосредоточиться девушка. – Кольца она на руках носила...

Жеглов повернулся в сторону убитой, сорвался с места, быстро нагнулся над телом – колец на пальцах не было. Надя с ужасом посмотрела на сестру, закрыла лицо руками и снова зашлась в глухих рыданиях, сквозь которые прорывались слова:

– Ее ограбили!.. Ограбили... Убили, чтобы ограбить... Бедная моя...

Пасюк, стоя на стуле перед книжным шкафом, сказал:

– Глеб Георгиевич, патроны... – И протянул небольшую синюю коробку Жеглову.

Рассмотрев коробку, Жеглов довольно улыбнулся и показал ее Панкову – на коробке большими желто-красными буквами было написано: «БАЙЯРД». Панков открыл коробку: из решетчатой, похожей на пчелиные соты упаковки, как шипы, торчали остроносые сизые пули. Однако торжество Жеглова длилось недолго, и нарушил его как раз я.

– Пули-то от «байярда», это точно, – заметил я. – Но коробка полная. Все пули на месте – ни одного свободного гнезда...

– Ничего, – твердо сказал Жеглов. – Здесь уже, как говорится, «тепло», поищем – найдем. Ты, Шарапов, запомни себе твердо: кто ищет – находит, в уныние не имей привычки вдаваться, понял?

Я кивнул, а Жеглов уже нашел мне дело:

– Вон, видишь, Иван достал из шкафа пачку бумаг? Разбери-ка их по-быстрому, – может, чего к делу относится.

Надя сказала торопливо:

– Это личные письма Ларисы, не стоит...

Но Жеглов перебил ее властно:

– Сейчас не важно, личные там или деловые, а посмотреть надо, – может, в них следок какой покажется. Читай, Шарапов, все подряд, потом для меня суммируешь...

Надя слабо махнула рукой, поднесла к глазам платок и снова горько заплакала, но Жеглов уже отвернулся от нее и стал заворачивать в бумагу патроны. Мне было как-то неловко оттого, что надо читать чужие письма, но все-таки Жеглов, наверное, прав: если не случайный какой грабитель залетел в эту уютную квартиру, чтобы убить и обобрать хозяйку, то корни всей этой истории могли уходить именно в личные дела Ларисы, а письма – это как-никак в личных делах лучший подсказчик.

Усевшись за письменный столик около окна, я неторопливо и фундаментально стал сортировать бумаги, среди которых, кроме писем, были и телеграммы, и записки, и счета за коммунальные услуги, раскладывая их по отправителям в отдельные пачечки. Пачек этих оказалось немного, потому что отправители были в основном одни и те же: мать Ларисы, муж ее Груздев, какая-то женщина, видимо подруга, по имени Ира и некий Арнольд Зелентул, с которого я и решил начать. Первое же письмо начиналось с пылких признаний в вечной, неутолимой и рыцарской, со ссылками на классиков, любви, – «помнишь, как у Шиллера?..» – и поскольку мне ни читать, ни тем более писать таких писем никогда не доводилось, я с большим интересом пробегал их глазами, пока они мне не приелись, потому что накал Арнольдовой страсти от письма к письму угасал, сменившись вскоре житейской прозой вроде объяснений о трудностях совместной жизни на его скромную интендантскую зарплату... Мне как-то вчуже стало совестно, и я взял последнее по датам письмо – написано оно было больше года назад и заканчивалось жалобами на злую судьбу, которая никак не позволяет им с Ларисой соединиться в обозримом будущем, и, следовательно, их дальнейшие встречи бесперспективны... Эх, птички божьи! Отложил я письма Арнольда в сторону, взялся было за письма Ирины, но в комнату быстро вошел милиционер.

– Товарищ капитан, гражданина Груздева привезли. Можно войти? – обратился он к Жеглову.

Да собственно, Груздев и так уже вошел. Он стоял в дверях, уцепившись за косяк, и я почему-то в первый момент смотрел не на его лицо, а именно на эту судорожно сжатую, белую, словно налившуюся гипсом, руку. Каждый сустав выступил на ней желтоватым пятном, и расплосовали ее синие полосы вен, и в этой руке жил такой ужасный испуг, в неподвижности ее было такое волнение, что я никак не мог оторваться от нее и взглянуть Груздеву в глаза и очнулся, только услышав его голос:

– Что это такое?..

Все молчали, потому что вопрос не требовал ответа. С криком бросилась к нему на грудь Надя, увидев в нем единственного здесь близкого человека, с которым можно разделить и немного утишить боль потери.

Груздев отцепил руку от двери, он словно отлеплял каждый палец по отдельности, и все движения его походило на замедленное кино, а рука совершила в воздухе плавный круг, слепо нащупала голову Нади и бесчувственно, вяло стала гладить ее, а сухие обветренные губы шептали еле слышно:

– Вот... Наденька... какое... несчастье... случилось...

Не отрываясь, смотрел он на Ларису, и нам, конечно, было неизвестно, о чем он думает – о том, как они встретились, или как последний раз расстались, или как она впервые вошла в этот дом, или как случилось, что она лежит здесь наполовину голая, на полу, с простреленной головой, и дом полон чужих людей, которые хозяйски распоряжаются, а он приходит сюда опоздавшим зрителем, когда занавес уже поднят и страшная запутанная пьеса идет полным ходом. На его костистом некрасивом лице было разлито огромное испуганное удивление, но с каждой минутой недоумение исчезало, как влага с горячего асфальта, пока не запекся на лице неровными красными пятнами страх, только страх...

С того момента, как Груздев вошел, Жеглов не сводил с него пристального взгляда своих выпуклых цепких глаз, и Груздев, видимо, в конце концов почувствовал этот взгляд, беспокойно повертел головой, посмотрел на Жеглова и спросил:

– Что вы на меня так смотрите?

Жеглов пожал плечами:

– Станный вопрос... Обыкновенно смотрю.

– Не-ет, вы на меня так смотрите, будто подозреваете... – Груздев покачал головой.

– Знаете что, гражданин, давайте не будем отвлекаться, – сказал Жеглов, и по тону его, по оттопырившейся нижней губе я понял, что он рассердился. – Скажите мне лучше, когда вы с потерпевшей последний раз виделись?

– Дней десять назад.

– Где?

– Здесь.

– С какой целью?

– Мы размениваем квартиру – я привез Ларисе планы нескольких вариантов...

Груздев говорил медленно, еле разлепляя сухие губы, и я не мог понять: он что, раздумывает так долго над ответами или все еще опомниться не может?

К разговору подключился Панков:

– Вы кого-нибудь подозреваете?

Груздев вскинул на него недобрый взгляд:

– Чтобы подозревать, надо иметь основания. У меня таких оснований нет. – Он сказал это раздельно, веско, и в голосе его скрипнула жесть неприязни.

– Это конечно, – простецки улыбнулся Панков. – Но, возможно, есть человек, к которому стоит повнимательней присмотреться, вы как думаете?

– Таких людей вокруг Ларисы последнее время вилося предостаточно, – сказал Груздев зло, помолчал, тяжело вздохнул. – Я ее предупреждал, что вся эта жизнь вокруг Мельпомены добром не кончится...

– Вы имеете в виду ее театральное окружение... – уточнил Жеглов и как бы мимоходом спросил: – У вас сейчас как с жилплощадью, нормально?

– Ненормально! – отрезал Груздев и с вызовом добавил: – Но к делу это отношения не имеет...

Он вытащил из кармана пальто носовой платок и вытер вспотевший лоб.

– Как знать, как знать, – неожиданно тонким голосом сказал Жеглов и достал из планшета записку, повертел ее в руках и спрятал обратно. – У вас оружие имеется?

Я мог бы поклясться, что при этом неожиданном вопросе Груздев вздрогнул! Взволновался-то он наверняка, потому что снова полез за носовым платком, и я впервые увидел, что до синевы бледный человек может одновременно покрываться испариной.

– Нет... – сказал Груздев медленно и протяжно. – Не может быть... Я как-то не подумал...

– О чем не подумали? – спросил Жеглов спокойно.

– Я совсем забыл о нем...

– Ну-ну... – поторопил Груздева Панков.

– Неужели это из него?.. У меня был наградной пистолет... – Груздев говорил невнятно и с трудом, будто у него сразу и губы, и язык онемели. – Я совсем забыл о нем...

Он встал и направился к буфету, но на середине комнаты остановился и повернулся к Панкову:

– Вы нашли?.. Это из него?..

– Покажите, куда вы его положили, – спокойно сказал Панков.

Груздев подошел к буфету, открыл верхнюю створку, достал оттуда шкатулку, из которой, по словам Нади, пропали драгоценности. Трясущимися руками откинул крышку, тупо уставился внутрь шкатулки. Панков встал, направился к Груздеву, подошли оперативники.

– Его здесь нет... Я хранил его в шкатулке.

– А взяли когда? – быстро осведомился Жеглов.

Груздев, словно не желая разговаривать с Жегловым, ответил Панкову:

– Я не брал... Поверьте, я не знаю, где он!

Панков развел руками, будто хотел сказать: «Не знаете, так не знаете, поверим...» – а Жеглов развернул газетный сверток и показал коробку с патронами Груздеву:

– Вам вот этот предмет знаком?

– Да-а... – глядя куда-то вбок, сказал Груздев. – Знаком... знаком... Это мои патроны...

Трясущимися пальцами он положил в блюдце, стоявшее на буфете, окурок, достал из пачки-десяточки «Дели» папиросу, дунул в мундштук, примял пальцами конец его, закурил. Я видел, как он переживает, мне было тяжело смотреть на него, я отвел глаза и уперся взглядом в хрустальную пепельницу на столе. Там по-прежнему лежали окурки, и я вспомнил, что под диктовку Жеглова записал в свой блокнот: «три окурка папирос „Дели“».

Я пригляделся к окуркам, и в груди что-то странно ворохнулось, перехватило дыхание: мундштуки, наподобие хвостовика-стабилизатора бомбы, только без поперечной планки, были примяты крест-накрест. Точно так же примял сейчас свою папиросу Груздев! Уставившись в одну точку, он курил, затягиваясь часто и сильно, так что западали щеки и перекатывался кадык. «Это улика», – подумал я, и сразу же вдогонку пришла новая мысль: он ведь говорит, что здесь не был, – выходит, врет? Впрочем, может...

И неожиданно для себя сиплым голосом я спросил:

– Гражданин Груздев, скажите... ваша жена курит? То есть курила?..

Жеглов с удивлением и недовольно посмотрел на меня, но мне это было сейчас безразлично, я находился у самой цели и, не обращая внимания на Жеглова, нетерпеливо переспросил медлившего с ответом Груздева:

– Папиросы она... курила? – И я неловко кивнул на тело Ларисы.

Груздев внимательно посмотрел на свою папиросу, потом, не скрывая недоумения, сказал уныло:

– Не-ет... Она даже запаха не переносила табачного. Я на кухню всегда выходил...

– Тогда как же вы объясните... – начал было я, но Жеглов неожиданно встал между нами, приподняв руку жестом фокусника, громко и сухо шелкнул пальцами, вставляя сказал:

– Од-ну ми-нуточку!.. Вы, гражданин Груздев, сейчас с другой женщиной живете?

Косо глянув на него, Груздев сухо, неприязненно кивнул, словно говоря: «Ну и живу, ну и что, вам какое дело?»

– Адресочек позвольте, – попросил Жеглов.

– Пожалуйста, – скривил губы Груздев. – Но надеюсь, вы не собираетесь ее допрашивать? Она никакого отношения не имеет...

– Мы разберемся, – неопределенно пообещал Жеглов. – Запиши, Володя.

Груздев продиктовал адрес и, пока я записывал его в свой блокнот, сказал, обращаясь скорее к Панкову, чем к Жеглову:

– Я просил бы не информировать квартирную хозяйку... Нам еще жить там... Вы должны с этим считаться.

– Я пока ничего обещать не могу, – сухо, неопределенно как-то сказал Панков, жуя верхнюю дряблую губу. – Следствие покажет...

Груздев возразил злым, тонким голосом:

– Вы меня извините, я не специалист, но мне кажется... В общем, не хватит ли следствию крутиться вокруг моей скромной персоны? Время-то идет...

Жеглов, не глядя на него, сказал равнодушно:

– Ну почему же вашей персоны? Разбираемся... как положено.

– Да что вы мне голову морочите?! – закричал Груздев. – Что я, не вижу, что ли, вы меня подозреваете? Чушь какая! Пистолет, патроны... окурки, глядишь, в ход пойдут. – Груздев презрительно посмотрел на меня, прикурил от своей папиросы новую, окурочек раздраженно швырнул в блюдо, не попал, и тот, дымясь, упал на ковровую дорожку.

Жеглов поднял окурочек, аккуратно загасил его в блюде.

– Да вы не нервничайте, товарищ Груздев, – сказал он мягко, почти задушевно. – Мы вас понимаем, сочувствуем, можно сказать... горю. Но и вы нас поймите, мы ведь не от себя работаем. Разберемся. Пойдем, Шарапов, я тебе указания дам. – Повернулся, пошел к дверям быстрой своей, пружинящей походкой и уже на выходе попросил Груздева: – Не сердчайте, Илья Сергеич, лучше помогите товарищам с вещами разобраться – все ли на месте?

В коридоре, прижав меня к вешалке, Жеглов сказал быстро и зло:

– Ты вот что, орел, слушай внимательно. Значитца, с вопросами своими мудрыми воздержись пока. Твой номер шестнадцатый, понял? Помалкивай в трубочку...

– Да я... – вздыбился я на него.

– Помолчи, тебе говорят! – заорал Жеглов и сразу перешел почти на шепот. – Папиросы заметил – хвалю! Я их, между прочим, как он только вошел, усек, но, обрати внимание, виду не подал. Ты усвой, заруби на своем распрекрасном носу раз и навсегда: спрос, он в нашем деле до-орого сто-ит! Спрашивать вовремя надо, чтобы в самую десятку лупить, понял?

Я покачал головой, пожал плечами: не понял, мол.

– Ну, сейчас не время, я тебе потом объясню, это штука серьезная, – пообещал Жеглов. – Наблюдай пока, мотай на ус. Как там у вас в армии говорят: делай, как я! И все! И давай без партизанщины, понял?

Я кивнул; и чувствовал я себя как собака, перед носом которой подбросили кусок сахара и сами же его поймали и спрятали в карман: на какую вескую улику я вышел, сейчас бы как в атаке – раз-два, быстрота и натиск! Черт побери, оказывается, не так это просто. Жеглову, наверное, виднее...

– Есть, товарищ начальник, делать, как ты. Перехожу на прием.

Жеглов улыбнулся, ткнул меня кулаком в живот и распорядился:

– Вон Тараскин какого-то суслика приволок, пошли расспросим...

Тараскин, которому Жеглов велел обойти соседей, расспросить их, не слышали ли чего, не видели ли кого, какой разговор промеж людьми насчет происшествия идет, приволок свидетеля очень интересного.

Свидетель, сосед Груздевых по лестничной клетке, и впрямь похожий на суслика – маленький, сутуловатый, с узкими плечиками, – рассказывал, поблескивая быстрыми черными глазками из-под косматых бровей:

– Меня, этта, жена послала ведро вынести на помойку, н-ну... Выхожу я на парадную, аккурат Илья Сергеич по лестнице идут... Встрелились мы, конечно, я с ими этта... поздоровался: здравствуйте, говорю, Илья Сергеич, н-ну, и он мне – здравствуй, мол, Федор Петрович... Было, граждане начальники, было...

– А потом что? – спросил Жеглов ласково.

– Этта... Известно чего... Я с ведром – на черный ход. А Илья, значит, Сергеич – в парадную, на улицу.

Жеглов сощурился, оглянулся на комнату, в которой оставил Груздева, и широко расставил руки, будто собираясь всех обнять:

– Ну-ка, орлы, здесь и так повернуться негде. Давай обратно... – И соседа вежливо очень спросил: – Мы не помешаем, если к вам в квартиру вернемся? Если это удобно, конечно... – И вид у него при этом был такой серьезный, такой начальственный, что сосед быстро-быстро закивал головой, словно обрадовал его своей просьбой Жеглов, польстил ему очень:

– Да господи, какой разговор, заходите, товарищи начальники, жилплощадь свободная!..

Мы прошли в комнату соседа, расселись за небольшим колченогим столом, покрытым старой клеенкой.

– Ну вот, здесь поспокойней будет, – сказал Жеглов и обратился к соседу, будто день подряд они разговаривали, а сейчас просто так прервались на минутку: – Значит, Илья Сергеевич на улицу вышел, а вы – черным ходом...

– Точно! – подтвердил сосед.

– Когда, вы говорите, дело-то было?

– А вчерась, к вечеру... Я аккурат после ночной проспался, картошку поставил варить, а сам с ведром, как говорится...

Я почувствовал легкий озноб: похоже, что все врет Груздев, сейчас очную ставку ему с соседом – и деваться будет некуда. Подобрался, еще более посерьезнел Жеглов, а Тараскин ухмыльнулся, не умея скрыть торжества. Жеглов поднялся, прошелся по комнате, посмотрел в окно – все молчали, ожидая вопросов начальника. А он сказал, обращаясь к хозяину, веско, значительно:

– Мы из отдела борьбы с бандитизмом. Моя фамилия Жеглов, не слышали? – Хозяин почтительно привстал, а Жеглов протянул ему руку через стол: – Будем знакомы.

Хозяин обеими руками схватился за широкую ладонь Жеглова, потряс ее, торопливо сообщил:

– Липатниковы мы. Липатников, значит, Федор Петрович, очень приятно...

Не садясь, поставив по обычной привычке ногу на перекладину стула, будто предлагая всем полюбоваться щегольским ладным своим сапожком, Жеглов, глядя соседу прямо в глаза, сказал доверительно:

– Вопрос мы разбираем, Федор Петрович, наисерьезный, сами понимаете... – Сосед покивал лохматой головой. – Значит, все должно быть точно, тютелька в тютельку...

– Все понятно, товарищ Жеглов, – сразу же уразумел сосед.

– Отсюда вопрос: вы не путаете, *вчера* дело было? Или, может, *на днях*?

– Да что вы, товарищ Жеглов! – обиделся сосед. – Мы люди тверезые, не шелапуты какие, чтобы, как говорится, нынче да анадясь перепутывать! Вчерась, как Бог свят, вчерась!

– Так, хорошо, – утвердил Жеглов. – Пошли дальше. Припомните, Федор Петрович, как можно точнее: *времени сколько было*?

Сосед ответил быстро и не задумываясь:

– А вот это, товарищ Жеглов, не скажу – не знаю я, сколько было время. К вечеру – это точно, а время мне ни к чему. У нас в доме и часов-то нет, вон ходики сломались, а починить все не соберемся...

Старые ходики на стене действительно показывали два часа, маятника у них не было.

– А как же вы на работу ходите? – удивился Жеглов.

– Я не просплю, – заверил сосед. – Я сроду с петухами встаю. И радио вон орет – как тут проспать?

Жеглов глянул на черную, порванную с одного края тарелку допотопного репродуктора, из которого Рейзен гудел в это время своим густым голосом арию Кончака, подумал, снова посмотрел на репродуктор, уже внимательней, сказал недоверчиво:

– Что ж он у вас, круглосуточно действует?

– Ага, он мне не препятствует, я после ночной и сплю при ем, – заулыбался Федор Петрович, показывая длинные передние зубы.

Глаза у Жеглова остро блеснули, он спросил быстро:

– Может, припомните, чего он играл, когда вы с ведром-то выходили, а, Федор Петрович?

Сосед с удивлением посмотрел на Жеглова – странно, мол, в какую сторону разговор заехал, – но все же задумался, вспоминая, и немного погодя сообщил:

– Матч был, футбольный. – И добавил для полной ясности заученное: – Трансляция со стадиона «Динамо».

До меня дошло наконец, куда гнет Жеглов, я на него просто с восхищением посмотрел, а Жеглов весело сказал:

– Так мы с вами, выходит, болельщики, Федор Петрович? Какой тайм передавали?

Федор Петрович тяжело вздохнул, покачал головой:

– Не-е... Я не занимаюсь, как говорится... Так просто, слушал от нечего делать, вы уж извините. Не скажу, какой... этга... передавали.

– Ну, может быть, вы хоть момент этот запомнили, про что говорилось, когда с ведром-то выходили? – спросил с надеждой Жеглов.

Сосед пожал плечами:

– Да он уже кончился, матч, значит. Да-а, кончился, я пошел картошку ставить, а потом уж с ведром...

– А точно помните, что кончился? – снова заулыбался Жеглов.

– Точно.

– С картошкой вы долго возились?

– Кой там долго, она уже начищена была, только поставил, взял ведро...

– Значит, как матч кончился, вы минут через пять-десять с Ильей Сергеевичем и встретились?

Федор Петрович поднял глаза к потолку, задумчиво пошевелил губами:

– Так, должно...

Жеглов сузил глаза, снял ногу со стула, походил по комнате, что-то про себя бормоча, потом спросил Тараскина:

– Кто вчера играл, ну-ка?

– ЦДКА – «Динамо», – уверенно сказал Тараскин.

– Правильно, – одобрил Жеглов. – Счет три – один в пользу наших. Значитца, так: начало в семнадцать плюс сорок пять плюс минут пятнадцать перерыв – восемнадцать часов. Плюс сорок пять, плюс десять минут... Та-ак... Восемнадцать пятьдесят, максимум девятнадцать... Потом чаепитие и другие рассказы... Все сходится! Ты улавливаешь, Шарапов?

Я-то улавливал уже: около семи вечера Наденька звонила Ларисе, и та попросила ее перезвонить через полчаса, пока она занята важным разговором. Теперь ясно, с кем этот разговор происходил... Да-а, дела...

Душевно, за ручку, распрощались мы с Федором Петровичем и вернулись в квартиру Груздевых, где процедура уже заканчивалась. Судмедэксперт диктовал Панкову результаты осмотра трупа, следователь прилежно записывал в протокол данные, переспрашивая иногда отдельные медицинские термины. Пасюк, любитель чистоты и порядка, расставлял по местам вещи, задвигал ящики, закрывал распахнутые дверцы. Приехала карета из морга, санитары прошли в комнату, и, чтобы не видеть, как поднимают и выносят тело Ларисы, я пошел на кухню, где за столиком, под надзором Гриши Шесть-на-девять, склонив голову на руки и уставившись глазами в одну точку, сидел Груздев.

Через несколько минут на кухню пришел Панков, которому разговор с соседом был, по-видимому, уже известен, и сразу спросил Груздева:

– Илья Сергеевич, где вы были вчера вечером, часов в семь?

Груздев поднял голову, мутными узкими глазками неприязненно оглядел нас всех, судорожно сглотнул:

– Вчера вечером в семь я был дома. Я имею в виду – в Лосинке... – Помолчал и добавил: – Вы напрасно теряете время, это не я убил Ларису.

– Следствие располагает данными, – сказал железным голосом Глеб, – что вчера в семь часов вы были здесь!

– Следствие! – повторил с ненавистью Груздев. – Вам бы только засадить человека, а кого – не важно. Вместо того чтобы убийцу искать...

– Слушайте, Груздев, – перебил Панков. – Соседи видели вас, зачем отпираться?

– Они меня видели не в семь, а в четыре! – запальчиво крикнул Груздев.

– Но в начале разговора вы сказали, что уже десять дней здесь не были, – с готовностью напомнил Жеглов, и я видел, что он недоволен Панковым так же, как был недоволен мною, когда я спрашивал Груздева про папиросы.

– Я этого не говорил, – сказал Груздев, и я перехватил ненавидящий блеск в его глазах, когда он смотрел на Жеглова. – Я сказал, что Ларису не видел дней десять...

– А вчера? – лениво поинтересовался Жеглов.

– И вчера я ее не видел, – нехотя ответил Груздев. – Я ее дома не застал.

– Все ясно, значитца... – Жеглов заложил руки за спину и принялся расхаживать по кухне, о чем-то сосредоточенно размышляя.

Панков пошел в комнату, дал понятым расписаться в протоколе, отпустил их и вернулся с Пасюком на кухню.

– Вас я тоже попрошу расписаться. – Он протянул Груздеву протокол, но тот отшатнулся, выставив вперед ладони, резко закачал головой.

– Я ваши акты подписывать не намерен, – угрюмо заявил он.

– Это как же понимать? – спросил Панков строго. – Вы ведь присутствовали при осмотре!

– Как хотите, так и понимайте, – ответил Груздев резко, подумал немного и добавил: – Кстати, когда я приехал, вы уже все тут разворотили...

Панков поджал и без того тонкие губы, укоризненно покачал головой:

– Напрасно, напрасно вы себя так ставите...

Груздев досадливо махнул рукой в его сторону и отвернулся к окну. Паузу разрядил Жеглов, он спросил непринужденно:

– Илья Сергеевич, а в Лосинке могут подтвердить, что вы вчера вечером были дома?

– Конечно... – презрительно бросил Груздев, не оборачиваясь.

– Позвольте спросить кто?

– Ну, если на то пошло, и жена моя, и квартирохозяйка.

– Понятно, – кивнул Жеглов. – Они на месте сейчас?

– Вероятно... Куда они денутся?..

– Чудненько... – Жеглов поставил сапог на табуретку, подтянул голенище; полюбовался немного его неувядающим блеском, проделал ту же операцию со вторым сапогом. – Пасюк, сургуч, печатка имеются?

– А як же! – отозвался Иван.

– Добро. Надюша, вас я попрошу освободить, временно конечно, вот этот чемодан – для вещественных доказательств.

Надя кивнула, открыла чемодан и стала перекладывать вещи из него в платяной шкаф, а Жеглов приказал мне:

– Сложишь все вещдоки. Упакуй только аккуратно и пальцами не следи. Бутылку заткни, чтоб не пролилась. Да, не забудь письма – упакуй всю пачку, у себя разберемся...

– А бутылку на что? – удивился я.

– Бутылка – это след, – сказал Жеглов. – Наше дело его представить. А уж эксперты будут решать, пригоден он или нет. – И, повернувшись к Груздеву, сказал как нельзя более любезно: – Ваши ключики, Илья Сергеевич, от этой квартирки попрошу.

Груздев по-прежнему молча смотрел в окно, и я подумал, что ни за что в жизни не догадался бы спросить про ключи так, будто заранее известно, что они имеются; наоборот, я бы начал умствовать, что раз люди разошлись, значит и ключей у него быть не должно.

Но Груздев молчал, и Жеглов, открыв планшет, вынул какой-то бланк, протянул его Панкову. Тот стал писать на нем, и, приглядевшись, я увидел, что это ордер на обыск. А Жеглов без малейшей нетерпеливости снова сказал Груздеву:

– Ключики нам нужны, Илья Сергеевич. – И пояснил: – Квартиру придется временно опечатать.

Груздев резко повернулся:

– Ключей у меня нет. И быть не могло. Постарайтесь понять, что интеллигентный человек не станет держать у себя ключи от квартиры чужой ему женщины! Чужой, понимаете, чужой!

– Напрасно вы все-таки так... – неприязненно сказал Панков и отдал ордер Жеглову. – Ну да ладно, давайте заканчивать.

– Все на выход! – коротко приказал Жеглов. – Вам, гражданин Груздев, придется с нами проехать на Петровку, тридцать восемь. Уточнить еще кое-что...

На лестнице Жеглов поотстал с Пасюком и Тараскиным, дал им ордер, сказал негромко:

– Езжайте в Лосинку. По этому адресу произведете неотложный обыск – ищите все, что может иметь отношение к делу, ясно? Особенно переписку – всю как есть изымайте. Потом сожительницу его и хозяйку квартиры поврозь допросите – где был он вчера, что делал, весь день до минуточки, ясно? И назад, рысью!..

В столице сейчас сто одиннадцать многодетных матерей, удостоенных высшей правительственной награды – ордена «Мать-героиня». Каждая из них родила и воспитала десять и более детей.

«Московский большевик»

Панков отправился домой, попросив завтра с утра показать ему собранные материалы. Быстро прогромыхав по ночным улицам, приехали мы на Петровку. Всю дорогу молчали,

молча поднялись и в дежурную часть. Жеглов усадил Груздева за стол, дал ему бумаги, ручку, сказал:

– Попрошу как можно подробнее изложить всю историю вашей жизни с Ларисой, все ваши соображения о происшествии, перечислить ее знакомых, кого только знаете. Отдельно опишите, пожалуйста, весь ваш вчерашний день, по часам и минутам буквально.

– Моя жизнь с Ларисой – это мое личное дело, – запальчиво сказал Груздев. – А что касается ее знакомых, то поищите кого-нибудь другого на них доносы писать. А меня увольте, я не доносчик...

– Слушайте, Груздев, – устало сказал Жеглов. – Мне уже надоело. Что вы со мной все время препираетесь? Вы не доносчик, вы по делу *свидетель*. Пока, во всяком случае. И давать показания, интересующие следствие, по закону *обязаны*. Так что давайте не будем... Пишите, что вам говорят...

Груздев сердито пожал плечами; всем своим видом он показывал, что делать нечего, приходится ему подчиниться грубой силе. Обмакнул он перо в чернильницу и снова отложил в сторону:

– На чье имя мне писать? И как этот документ озаглавить?

– Озаглавьте: «Объяснение». И пишите на имя начальника московской милиции генерал-лейтенанта Маханькова. Мы потом эти данные в протокол допроса перенесем... Пошли, Шарапов, – позвал Жеглов, и мы вышли в коридор.

– А зачем на имя генерала ты ему писать велел? – любопытствовал я.

– Для внушительности – это в нем ответственности прибавит. Если врать надумает, то не кому-нибудь, а самому генералу. Авось поостережется. Идем ко мне, перекусим.

Зашли мы в наш кабинет, поставили на плитку чайник, закурили. Я посмотрел на часы: пять минут первого. Жеглов взял с подоконника роскошную жестянку с надписью нерусскими буквами «Принц Альберт» – в ней, поскольку запах табака уже давно выветрился, он держал сахарный песок, – достал из сейфа буханку хлеба, которую я успел «отovarить» незапамятно давно – сегодня, а вернее, вчера перед обедом, собираясь отмечать «день чекиста». Своим разведческим, острым как бритва ножом с цветной наборной плексигласовой рукояткой я нарезал тонкими ломтями аппетитный ржаной хлеб, щедро посыпал его сахарным песком, а Жеглов тем временем заварил чай. Ужин получился прямо царский. Я свой ломоть нарезал маленькими ромбами – так удобнее было держать их в сложенной лодочкой ладони, чтобы песок не просыпался. Прихлебывая вкусный горячий чай, я спросил:

– Что насчет Груздева думаешь, а, Глеб?

– Его это работа, нет вопроса... – И, прожевав, добавил: – Этот субчик нетрудный, у меня не такие плясали. Один хмырь, помню, бандитское нападение инсценировал: приезжаем – жена убитая, он в другой комнате, порезанный да связанный, с кляпом во рту лежит, в квартире полный разгром, все вверх дном перевернуто, ценности похищены. Стали разбираться, он убивается, сил нет: жизни, кричит, себя лишу без моей дорогой супруги! – Жеглов аккуратно смел ладонью крошки с газеты и отправил их в рот, задумался.

– Ну-ну, а дальше?..

– А дальше разведал я, что у него любовница имеется. А поскольку был он мне вот так, – Жеглов провел ребром ладони по горлу, – подозрительный, я ему напрямик и врубил: «Признавайтесь, за что вы убили дорогую супругу?» Ну, что с ним было – это передать тебе невозможно, куда он только на меня не жаловался, до Михаила Ивановича Калинина дошел.

– А ты что?

Жеглов поднялся, потянулся всем своим гибким, сильным телом, удовлетворенно погладил живот и хитро ухмыльнулся:

– А я его под стражу взял, чтобы он охолонул маленько. Деньков пять он посидел без допроса, а я тем временем его любовницу расколол: она домишко купила, да непонятно, на

какие шиши. Пришлось ей все ж таки признаться, что деньги – тридцать тысяч – любовник дал. А он-то плакался, что аккурат эти деньги подчистую грабители забрали, ни копейки ему не оставили. Поднимаю я его из камеры, очную ставочку с любименькой. Да-а... Как он ее увидел, так сразу: «Отпустите меня с допроса, подумать надо...» Хорошо. Вызываю через день, не успел он рта раскрыть, я ему заключение экспертизы...

– Какой экспертизы? – не понял я.

– Там, понимаешь, среди прочего на полу приемник валялся, «Телефункен», как сейчас помню, трофейный. И тип этот всю разорался, что искали грабители в приемнике деньги, не нашли и со злости грохнули его об пол со всей силой. А эксперты пишут категорически, что коли грохнулся бы приемник об пол, то произошли бы в его хрупкой конструкции непоправимые перемены и работать он бы ни в жисть не стал. А приемник, между прочим, работает как миленький...

– Ага, он, значит, его на пол поставил, чтобы создать видимость разгрома...

– Точно. Я ему так и сказал, он на полусогнутых: «Жизнь мне сохраните, умоляю, вину искуплю...» Вот такие типы, значитца, имеют место, и ты привыкай вести с ними беспощадную борьбу, как от нас требует народ.

– А Груздев?

– Испекся, – небрежно махнул рукой Жеглов. – Покобенится – и в раскол, куда ему деваться? Все улики налицо, а мужичишко он хлипкий, нервный...

Я поднялся:

– Пойду его проведу – как он там?

– Ни в коем разе, – остановил Жеглов. – Ему сейчас до кондиции дойти надо, наедине, как говорится, со своей совестью. Но, между прочим, ты не думай, что все уже в порядке, такие дела непросто делаются, тут еще поработать придется...

– Есть, – охотно согласился я и попросил: – Ты обещал насчет следственных вопросов поподробней...

– А-а, – вспомнил Жеглов. – Это можно. Конечно, тут все на словах не объяснишь, ты еще пройдешь эту теорию на практике...

Я усмехнулся.

– Ну что ты, как медный самовар, светишься? – рассердился Жеглов. – Дело серьезное! Ты пойми, когда преступника допрашивают, он весь, как зверь, в напряжении, и страх в нем бушует: что следователь знает, что может доказать, про что сейчас спросит? Вот это самое напряжение, страх этот его надо вплоть до самого ужаса завинчивать, понял? А как это делается? Очень просто. Вопросы должны идти по нарастающей: сначала про пустячки, то да се, мелочишку – тот сказал, та видала, этот слышал... Преступник уже видит, что ты в курсе дела и пришел не так просто, поболтать про цветы и пряники. Ладно. И тут ты ему фактик подбрасываешь, железный...

– Ну а он, представь себе, отпирается, – сказал я.

– И хорошо! И прекрасно! Он отпирается, а ты ему очняк – р-раз! Кладет его, допустим, подельщик на очной ставке...

– А он все равно отпирается... – подзадорил я его.

– А ты ему свидетеля – р-раз, экспертизу на стол – два! Вещдок какой-нибудь покрепче – тр-ри! И готов парнишечка, обязан он в этом фактике признаться и собственноручно его описать, и к тому же с объяснением, почему врал доселе.

– Ну допустим, – кивнул я. – Что потом?

– Потом ты ему предлагаешь самому рассказать о своей преступной деятельности. Он тебе, конечно, тут же клянется, что сблудил один-единственный разок в молодой своей жизни, да и то по пьянке. А ты сокрушаешься, головой качаешь: опять, мол, заливаешь ты, паря, мне тебя просто до невозможности жалко, что с тобою при твоей неискренней линии станется? Он

говорит: «А что?» – а ты краешком, остороженько, называешь, к примеру, Шестой Монетчиковский, где, как тебе известно, кражонка была, но доказательств ни на грош не имеется.

– Так он тебе навстречу и разбежался!

– А вот и разбежался! Я ведь про первый эпизод тоже его спрашивал с прохладцей, изда-лека. Он мне семь бочек арестантов, а я ему факты, очные ставки и все такое прочее, после чего и сознаваться пришлось, и оправдываться. Поэтому он встает, смотрит в твои красивые голубые глаза, бьет себя в грудь и «чистосердечно» сознается в последнем из преступных фактов своей жизни. Протокол, значитца, подписи и другие рассказы...

Зазвонил телефон – Панков из дому интересовался, не сознался ли Груздев.

– Нет пока, – сказал Жеглов. – Да вы не беспокойтесь, Сергей Ипатьич, развалится... – Положив трубку, Жеглов пошутил: – Спи спокойно, дорогой товарищ... Стар стал прокурорский следователь Панков. Раньше, бывало, пока сам обвиняемого не расколет, хоть ночь, за полночь, хоть до утра, хоть до завтра будет пыхтеть. Смешно...

– Ты не отвлекайся, Глеб. Про следственные вопросы ты рассказывал. Мне ведь по книжкам некогда учиться.

– Молодец, Шарапов! – похвалил Жеглов. – При твоей настырности будешь толковый орел-сыщик. Слушай. Значитца, раскололся наш клиент на второй эпизод, ты ему без промедления третий адресок шепчешь. Притом снова железный. А он в это время приходит в соображение, что про второе дело он ни на чем развалился, без доказательств, и охватывает его, конечное дело, досада. И вскакивает он на ножки молодецкие, ломает свои ручки белые, Христом Богом и родной мамой клянется, что нет на нем ничего больше, все как есть отдал! Тогда ты, как и в первый раз, всю карусель ему по новой прокручиваешь: и свидетеля-барыгу, и прохожего-очевидца, и подельщика на очной. И снова ему деваться некуда, и снова он тебе покаяние приносит полное, с извинениями и всяческой божбой. Тут тебе самое время в негодование прийти, объяснить ему, поганцу, что коли каждый эпизод таким вот макаром придется доказывать, клещами из него тянуть, то у народного суда сроков не хватит для подобного отъявленного нераскаявшегося вруна-негодая. «И на Якиманке, выходит, ты не был, и в Бабье-городском не твоя работа, и Плющиха тебя не касается и так далее и тому подобное» – всю сводку ему, короче, за год вываливаешь, лишь бы по почерку проходило...

– Так ведь он с перепугу и чего не было признает? – обеспокоился я. – В смысле – чужие дела себе припишет?

– Будь спок. – Жеглов налил себе в стакан остывшего чаю и отхлебнул сразу половину. – Чужое вор в законе сроду на себя не возьмет... Я имею в виду, при таком следствии. Да и ты на что? Проверять надо! А он, когда его вот так, по-умному, обрабатываешь, все делишки свои даст, как говорится, за сегодня, за завтра и за три года вперед! Учись, пока я жив! – И он самодовольно похлопал себя по нагрудному карману.

– Учусь, – сказал я серьезно. – Я этот метод вот как понял! А ты мне еще всякое рассказывай, я буду стараться...

В коридоре раздался гулкий топот, я открыл дверь, выглянул – быстрым шагом, почти бегом, приближались Пасюк и Тараскин. Пасюк первым вошел в кабинет, пыхтя, подошел прямо к столу Жеглова, вытащил из необъятного кармана своего брезентового плаща свернутые трубкой бумаги, аккуратно отодвинул в сторону хлеб, положил трубку на стол и сказал:

– Ось протокол обыска... та допросы жинок.

– Нашли чего? – спросил с интересом Жеглов.

– Та ничего особенного... – ухмыльнулся Иван.

– А что женщины говорят?

– Жинка його казала, шо був он у хати аж с восемнадцати рокив...

– А квартирная хозяйка?

Заговорил наконец Тараскин:

– Хозяйка показала, что с утра его не видела и вечером на веранде ихней было тихо. Так что она и голоса его не слышала. Как с утра он на станцию ушел, мол, так она его больше не видела.

– Ясенько, – сказал Жеглов. – Значитца, не было его там.

– А жена?.. – спросил я.

– Наивный ты человек, Шарапов! – засмеялся Жеглов. – Когда же это жена мужу алиби не давала? Соображать надо...

Да, это, конечно, верно. Я взял со стола протоколы допросов – почитать, а Жеглов походил немного по кабинету, посообразал, потом вспомнил:

– Да, так что вы там «ничего особенного»-то нашли?

Пасюк снова полез в карман плаща, извлек оттуда небольшой газетный сверток, неторопливо положил его на стол рядом с протоколами. Жеглов развернул газету.

В его руках холодно и тускло блеснула черная вороненая сталь.

Это был пистолет «байярд»!

В комнате было невероятно накурено, дым болотным туманом стелился по углам; глаза слезились, и я, несмотря на холод – топить еще не начинали, – открыл окно.

Дождь прекратился, было похоже, что ночью падет заморозок, и небо очистилось от лохматых, низко висевших целый день над городом туч, в чернильной глубине его показались звезды. Стоя у окна, я глубоко вдыхал свежий ночной воздух и раздумывал о сложных хитросплетениях человеческих судеб. На фронте все было много проще, даже не говоря об отношениях с врагом – да и какие это были, собственно говоря, отношения: «Бей фашистского зверя!» – и точка! А тут я сколько ни силился, все равно мне было не сообразить, не понять, как это интеллигентный культурный человек, да еще к тому же врач, может убить женщину, свою пусть бывшую, но жену, близкого человека, из-за какой-то паршивой жилплощади. И не в приступе злости или гнева, и не из желания избавиться от опостылевшей обузы, даже не из ревности, а из-за какой-то квартиры!

Этот мотив никакого сомнения не вызывал. Жеглов в этом именно духе и высказался, да я и сам полагал точно так же. Правда, некоторые сомнения вызывал страховой полис на имя Ларисы, который был обнаружен в Лосинке там же, где лежал и пистолет «байярд», в выемке за электросчетчиком. Страховка была оформлена накануне убийства, на крупную сумму, и, как объяснил Жеглов, формально оставаясь мужем Ларисы, Груздев имел все законные основания на получение страховой суммы в виде наследства. И на мой взгляд, был еще важный момент – пропажа самых ценных вещей и украшений Ларисы; но когда я спросил Жеглова, как это понимать, он, улыбаясь, объяснил:

– Понимаешь, Володя, неслыханных преступлений не бывает: каждый раз что-то подобное где-то когда-то с кем-то уже было. На том наш брат сыщик и стоит – на сходности обстоятельств, на одинаковых мотивах, на уловках одного покроя...

– А ты уже расследовал такое? – спросил я.

– И не раз, и не два, – кивнул Жеглов. – К примеру, застал муж свою жену с любовником. Голова кругом, сердце наружу выпрыгивает, выхватил револьвер: бах! бах! – и два трупа. Придет в себя, възрыдает и к нам бежит – казните, граждане, я только что жену убил! А бывает и по-другому, вот как нынче: обдумает человек все неторопливо, как сделать да как от себя отвести, а иной раз и как навести на другого. Приготовит все заранее, хладнокровно сделает – и на дно. Знать не знаю, ведать не ведаю, как случилось, а вы, орлы-сыщики, ищите, носом землю роите, но убийцу человека моего единственного и на все времена любимого найдите!

– И вещи, выходит, он взял, чтобы мы решили, будто грабеж был? – догадался я.

– Точно! – одобрил Жеглов. – Правильно мыслишь. Они, шмотки-то, может, ему и ни к чему... Для отвода глаз, значит. А может быть, и к чему. Меня на эту мысль наводит пистолет

его. Другой на его месте выкинул бы оружие к чертовой матери – от улики избавиться, – а этот, вишь, припрятал: значит, к вещам относится трепетно, жалеет их, понял?.. Да и кольцо у Ларисы на пальце, Надя говорит, цены необыкновенной, от бабки ей досталось...

Тараскин привел Груздева. Весь он как-то сник, съезжился, зябко поводил плечами, спрятав подбородок в поднятый воротник пальто. И лицо его за эти часы совсем усохло, приобрело землистый оттенок, будто он уже месяц сидел в тюремной камере, а не приехал час назад с воли. Набрякли, покраснели веки, притух злой блеск глаз, и только плотно сжатые узкие губы его выдавали твердую решимость и уверенность в себе.

– Немного же вы написали за столько времени, – посетовал Жеглов, принимая от него два редко исписанных корявым, каким-то неуверенным почерком листочка. Груздев сжал губы еще теснее, ничего не ответил, но Жеглов, не обращая на это ни малейшего внимания, уселся в кресло и стал читать, подчеркивая что-то в объяснении карандашом. Прочитал, встал, прошелся по кабинету, подошел вплотную к Груздеву, который сидел – это как-то не нарочно даже получилось – на одиноком стуле посреди кабинета, так что даже облокотиться было не на что; и сказал Жеглов веско:

– Значитца, так, гражданин Груздев, будем с вами говорить на откровенность: правды писать вы не захотели. – И он небрежно помахал в воздухе листочками объяснения. – А напрасно. Дело-то совсем по-другому было, и враньем мы с вами только усугубляем, понятно?

– Да как вы смеете! – вскочил со стула Груздев. – Как вы смеете со мной так разговаривать? Я вам не жулик какой-нибудь, с которыми, я наслышан, в вашем учреждении обращаются вполне бесцеремонно. Я врач! Я кандидат медицинских наук, если на то пошло! Я буду жаловаться! – Бледное лицо его снова запеклось неровными кирпичными пятнами страха и волнения, он стоял вплотную к Жеглову и, казалось, готов был вцепиться в него.

Жеглов сделал – даже не сделал, а скорее обозначил – неуловимое движение корпусом вперед, на Груздева, и тот невольно отступил, но позади был стул, и он неловко, мешком, шлепнулся на него. Как бы фиксируя это положение, Жеглов небрежно поставил ногу на перекладину стула, сказал жестко, и в голосе его послышалась угроза:

– Насчет жалоб я уже слышал, доводилось. А вот насчет жуликов – это верно. Ты не жулик. Ты убийца...

У меня перехватило дыхание – настолько неожиданным был этот переход. Я понял, что начинается самое ответственное: сейчас Жеглов будет *раскалывать* Груздева!

А пока была тишина, плотная, вязкая, напряженная, и нарушало ее лишь хриплое дыхание Груздева да мерное поскрипывание стула под ногой Жеглова. Щегольским сапогом своим он прихватил полу пальто Груздева, и, когда тот попробовал повернуться, пальто, натянувшись, не пустило его – Жеглов словно пришил Груздева к стулу...

– Ты долго готовился... – прервал наконец молчание Жеглов, и голос у него был какой-то необычный, скрипучий, и слышалось в нем одно только чувство – безмерное презрение. – Хи-итрый... Только на хитрых у нас, знаешь, воду возят...

– Да вы... Да что вы такое несете! – Груздев давился словами от возмущения, наконец они вырвались наружу в яростном крике: – Вы с ума сошли!

– Ну-ну, утихомирься... – жестко ухмыльнулся Жеглов. – Будь мужчиной: попался – имей смелость сознаться. Оно к тому же и полезно – в законе прямо сказано: чистосердечное признание смягчает вину...

В кодексе, который я читал вчера утром, формулировка была несколько иная, но мысль эта мелькнула и пропала, потому что заговорил Груздев:

– Слушайте, это какое-то ужасное недоразумение... Я не верю... Вы со мной разговариваете, будто я в самом деле убийца... – Голос его звучал хрипло, прерывисто, на глазах выступили слезы. – Но ведь, если вы *мне* не верите, то это как-то *доказать* надо?!

– А что тут еще доказывать? – легко сказал Жеглов. – Главное мы уже доказали, а мелочи уж как-нибудь потом, в ходе следствия подтвердятся. Ну, например, тем, что пуля выстрелена из вашего пистолета. Я, кстати, это сразу же на глаз определил, на месте...

– Но из пистолета мог выстрелить кто-то другой! Вы же сами убедились, что его на месте не оказалось! – сказал Груздев, и мне послышалась в его голосе вопросительная интонация.

Я посмотрел на Жеглова, и он еле заметно подмигнул мне: «Чувствуешь, как прощупывает?» – а сказал опять вежливо и терпеливо, как учитель, объясняющий несложную задачу совсем уж непонятливому ученику:

– Я ведь сказал, это мелочь. Разберемся, не беспокойтесь, гарантирую. При раскрытии преступления главное – определить, кому оно выгодно. Это любой студент знает. Ну-ка глянем: выгодно вам это преступление?..

Груздев рванулся с места; на сей раз ему удалось высвободить пальто, и он поднялся:

– Но это же абсурд! Таким путем можно черт знает что обосновать! С вашей точки зрения получается, что детям выгодна смерть родителей, жене – мужа и так далее только потому, что все они наследники...

– Но у вас немного другой случай, – перебил Жеглов. – Наследником вы являетесь, а мужем – давно уже нет... – И приказал: – Садитесь! И внимательно слушайте, что я вам скажу. Для вашей же пользы...

Он снял ногу с перекладины стула, прошелся по кабинету, снова остановился перед Груздевым и стал говорить, жестко отрубая взмахом ладони каждую свою фразу:

– Жить с прежней женой – Ларисой – вы больше не желаете...

Вы находите другую женщину – Галину Желтовскую, вашу ассистентку...

При этом повсюду, где только можно, вы создаете видимость доброго отношения к бывшей жене, даете ей деньги, продукты, вносите квартплату...

Но Ларисе некуда деваться – и вы объявляете о решении разменять отдельную квартиру на две комнаты в коммунальных...

На самом деле вам вовсе не улыбается перспектива толкаться с соседями на общей кухне...

Да и квартира, в сущности, ваша – еще родительская...

А Лариса даже обмениваться не торопится...

Расходы растут: жизнь на две семьи до-орого стоит...

И вы принимаете решение...

Груздев закашлялся, а может, засмеялся – не понять было, – отер глаза носовым платком и сказал, зло скривив рот:

– Все это было бы смешно...

– Когда бы не было чистой правдой, – перебил Жеглов уверенно. – Вы принимаете решение избавиться от Ларисы да еще заработать на этом. Угрожающей запиской, вот этой, – Жеглов достал из планшета листок, обнаруженный при осмотре, и помахал им перед глазами Груздева, – вы заставляете ее пойти наконец навстречу вашим интересам... в обмене и еще кое в чем... Приходите к ней с вашим любимым вином, с шоколадом, пьете чай, беседуете и, улучив момент, стреляете... Потом, создав видимость ограбления, – похищены самые ценные вещи, даже кольца с рук! – тихо захлопываете дверь и убываете в Лосинку, где договариваетесь с Желтовской, что весь вечер были дома. Алиби!

Жеглов намертво вцепился своим тяжелым, требовательным, пронзительным взглядом в глаза Груздева, и тот, не выдержав, отвернулся, сказал глухо:

– Вся эта дурацкая басня – плод вашего воспаленного воображения. Я еще не знаю, как мне доказать... Я растерялся что-то... Но вы не думайте...

– Да вы, оказывается, упрямец... – посетовал Жеглов. – Ну что ж, придется с вами разговаривать шершавым языком... протокола, коли вы нормальных слов не понимаете. Шарапов, возьми-ка бланк постановления. Пиши...

Разгуливая по кабинету, Жеглов неторопливо продиктовал суть дела, анкетные данные Груздева, потом, остановившись около него и неотрывно глядя ему в глаза, перешел к доказательствам. Я старательно записывал: «...Помимо изложенного, изобличается: запиской угрожающего содержания (вещественное доказательство № 1); показаниями Надежды Колесовой, сестры потерпевшей; продуктами питания (вещественное доказательство № 2); окурками папирос „Дели“, обнаруженными на месте происшествия, которые курит и гр. Груздев (вещественное доказательство № 3); показаниями свидетеля Липатникова, видевшего Груздева выходящим с места происшествия в период времени, когда была убита Груздева Лариса; показаниями свидетельницы Никодимовой, квартиrophозяйки Груздева, опровергающими его алиби; пулей, выстреленной из оружия типа пистолета „байярд“ (вещественное доказательство № 4), каковой пистолет, по признанию подозреваемого, хранился у жены...»

Жеглов остановился, крутанул на каблуке, подошел к своему столу, достал из ящика исписанный лист бумаги, протянул Груздеву:

– Ознакомьтесь, это протокол обыска у вас в Лосинке... Подпись Желтовской узнаете?

– Д-да, – выдавил из себя Груздев. – Это ее рука...

– Читайте, – сказал Жеглов и незаметно для Груздева достал из того же ящика «байярд» и полис.

– Что за чертовщина?.. – всматриваясь в протокол, сипло сказал Груздев, у него совсем пропал голос. – Какой пистолет? Какой полис?..

Жеглов, не обращая на него внимания, сказал мне:

– Пиши дальше: «...и пистолетом „байярд“, обнаруженным при обыске у Груздева в Лосиноостровской (вещественное доказательство № 5); страховым полисом на имя Ларисы Груздевой, оформленным за день до убийства, обнаруженным там же (вещественное доказательство № 6)...» – И, повернувшись к Груздеву, держа оружие на раскрытой ладони правой руки, а полис – пальцами левой, крикнул: – Вот такой пистолет! Вот такой полис! А? Узнаете?!

Лицо Груздева помертвело, он уронил голову на грудь, и я скорее догадался, чем услышал:

– Все... Боже мой!..

Жеглов сказал отрывисто и веско, словно гвозди вколотил:

– Я предупреждал... Доказательств, сами видите, на десятерых хватит! Рассказывайте!

Долгая, тягучая наступила пауза, и я с нетерпением ждал, когда нарушится эта ужасная тишина, когда Груздев заговорит наконец и *сам* объяснит, за что и как он убил Ларису. В том, что это сейчас произойдет, сомнений не было, все было ясно. Но Груздев молчал, и поэтому Жеглов поторопил его почти дружески:

– Время идет, Илья Сергеевич... Не тяни, чего там...

В кабинете по-прежнему было холодно, но Груздев расстегнул пальто, пуговицы на сорочке – воротничок душил его, на лбу выступила испарина. Острый кадык несколько раз судорожно прыгнул вверх-вниз, вверх-вниз, он даже рот раскрыл, но выговорить не мог ни слова.

Жеглов сказал задушевно:

– Я понимаю... Это трудно... Но снимите груз с души – станет легче. Поверьте мне – я зна-аю...

– Вы знаете... – выдохнул наконец Груздев с тоской и ненавистью. – Боже мой, какая чудовищная провокация! – И вдруг, повернувшись почему-то ко мне, он закричал что было силы: – Я не убива-ал!! Не убива-ал я, поймите, изверги!..

Я съежился от этого крика, он давил меня, бил по ушам, хлестал по нервам, и я впал совершенно в панику, не представлял себе, что будет дальше. А Жеглов сказал спокойно:

– Ах так, провокация... Ну-ну... Хитер бобер... Пиши дальше, Шарапов: «...Принимая во внимание... изощренность... и особую тяжесть содеянного... а также... что, находясь на свободе... Груздев Илья Сергеевич... может помешать расследованию... либо скрыться... избрать мерой пресечения... способов уклонения от суда и следствия... *содержание под стражей...*»

Груздев сидел, ни на кого не глядя, ко всему безучастный, будто и не слышал слов Жеглова. Глеб взял у меня постановление, бегло прочитал его и, не присаживаясь за стол, расписался своей удивительной подписью – слитной, наклонной, с массой кружков, закорючек, изгибов и замкнутой плавным округлым росчерком. Помахал бумажкой в воздухе, чтобы чернила просохли, и сказал Пасюку:

– В камеру его...

Ленинград, 11 октября, ТАСС. В Ленинград из Свердловска прибыли два эшелона, в которых доставлены все экспонаты сокровищницы мирового искусства – Государственного Эрмитажа, эвакуированные в начале войны.

Следователь Панков позвонил ровно в десять и осведомился, как идут дела с Груздевым.

– Да куда он денется?.. – сказал Жеглов беззаботно и снова заверил Панкова, что все будет как надо.

Положил трубку, закурил, подумал, потом велел мне и Тараскину пойти проведать арестованного.

– В беседы всякие вы с ним не пускайтесь, – сказал он. – Напомните про суровую кару и зачитайте из Уголовного кодекса насчет смягчения оной при чистосердечном раскаянии. В общем, пощупайте, чем он дышит, но интереса особого не надо. Как, мол, хочешь, тебе отвечать...

Тараскин охотно оторвался от какой-то писанины – всякий раз, когда требовалось написать даже пустяковый рапорт, он норовил сбавить эту работу кому-нибудь другому, – и мы пошли к черной лестнице, ведущей во двор, где находилась КПЗ. Еще в кабинете он начал рассказывать постоянному и верному своему слушателю Пасюку содержание новой картины, а по дороге решил приобщить и меня. Обгоняя меня на лестнице, он заглядывал мне в лицо и торопливо, словно боялся, что я остановлю его, излагал:

– А тут приходит Грибов, ну, этот... Шмага, в общем, и говорит: «Пошли, Гришка! Наше место, – говорит, – в буфете!» – Тараскин залился счастливым смехом, быстрые серые глазки его возбужденно блестели. – В буфете! Понял? И Дружников его обнимает, понимаешь, за талию, и они гордо выходят. А Тарасова – в обморок, но они все равно уходят и ноль внимания!..

Мы вышли во внутренний дворик, слабо освещенный вялым осенним солнцем, успешным, однако, подсушить с утра лужи на асфальте, прошли мимо собачника, из которого доносились визг, лай, глухое басовитое рычание – собак, видно, кормили, потому что в другое время они ведут себя тише. Подошли к кирпичному подслеповатому – из-за того что окна наполовину были прикрыты жестяными «намордниками» – зданию КПЗ.

– И чего же ты радуешься? – спросил я Колю.

– Как чего? – удивился он. – Тарасова-то думала, что он запрыгает от счастья, а они – на тебе – в буфэ-эт...

Лязгнула железными запорами тяжелая дверь, надзиратель проверил документы, пропустил внутрь. В караулке он отобрал пистолеты, положил их в сейф и провел нас на второй этаж, открыл одну из камер:

– Груздев! На выход!

Я впервые видел камеру изнутри и с любопытством оглядывал ее. Небольшая, довольно чистая комната с зарешеченным окном и двумя нарами – деревянными крашеными полатами. На одной из них лежал Груздев, повернувшись к нам спиной. Еще по дороге сюда я размышлял о том, с каким напряженным ожиданием вслушивается, должно быть, Груздев в каждый звук, в каждый шорох из коридора – не за ним ли идут, нет ли новостей с воли?..

На окрик надзирателя Груздев отозвался не сразу, зашевелился, медленно поднял голову и только потом повернулся к нам. И тут я понял, что он спал. Спал! Даже мне после вчерашнего далеко не сразу удалось уснуть, а уж насчет него-то и сомнений никаких не было: где ж ему хоть глаза сомкнуть? И вот тебе – спит как сурок, будто ничего не случилось. Ну и нервы! От такого действительно всего можно ожидать...

– Собирайтесь, Груздев, на допрос, – повторил надзиратель, замкнул дверь камеры и проводил нас в следственный кабинет – узкую тесную каморку с подслеповатым оконцем, маленьким колченогим столиком и привинченными к полу стульями – это чтобы их нельзя было использовать как оружие, догадался я.

Вошел Груздев, неприветливо мазнул сонным взглядом по моему лицу, даже не кивнул. А на Тараскина он вообще внимания не обратил. Но я решил волю чувствам не давать: что ни говори, он сейчас все одно что военнопленный, считай лежачий, так что надо быть повежливей. Я и сказал ему культурно:

– Здравствуйте, Илья Сергеевич. Как вы себя чувствуете?

Он усмехнулся недобро, да я и сам понял, что глупость сморозил – какое уж тут самочувствие! А он сказал, скривив рот:

– Вашими молитвами. Ну-с, что скажете?

– Да вот спросить вас хотели: может, облегчите душу-то? Пора бы, вам же лучше станет...

Он посмотрел на меня – глазки маленькие, со сна припухшие, а тут совсем в щелочки превратились.

– Тоже мне, исповедник с наганом... – И скрипуче засмеялся.

Но не стал я на него обижаться, я ему просто разъяснил статью сорок восьмую – о чистосердечном раскаянии и так далее, – а он все слушал, не перебивал, пока я не закончил. Потом сказал и ладонью по столу постучал, будто припечатал:

– Вы, молодой человек, уясните себе наконец, что не на такого напали – каяться, в чем не виноват, во имя ваших милостей. Правда – она себя покажет. И лучше всего будет, если вы от меня отвяжетесь и будете искать настоящего убийцу, а не того, кто к вам поближе оказался, для следствия поудобней, ясно? – Он подумал немного, потер ладонью лоб, будто соображал, не забыл ли чего. Видно, сообразил, потому что заулыбался даже, и говорит: – Я придумал, как самому себе помочь. Официально вам заявляю, что больше давать вам никаких показаний не буду, сюда напрасно не ходите. Может быть, хотя бы это побудит вас оглядеться окрест себя повнимательней. Все!..

И сколько я ему ни объяснял после этого, что он себе же делает хуже, что на суде не обрадуются такому его неправильному поведению и так далее и тому подобное, он даже бровью не повел, отвернулся от нас к окну, будто его не касается, и больше ни слова не произнес, как глухонемой.

Я бы еще, может, поразорялся, но Тараскину надоело, он зевнул пару раз и сказал:

– Ну ладно, Володь, чего там. Не хочет человек говорить – не надо. Пожалее потом, да поздно будет. Как Дружников вон – не сказал матери сразу, что к чему, а потом какая некрасивая история получилась! Пошли...

И мы вернулись в Управление. Я пересказал Жеглову наш с Груздевым разговор, если, конечно, это можно назвать разговором. Думал, он ругаться будет, но Жеглов ругаться не стал, а наоборот, ухмыльнулся криво этак – он один, по-моему, только так и умеет – и сказал:

– Вольному воля, не в обиду Груздеву будь сказано. По нашим законам обвиняемый имеет право на защиту. Хочет молчать – его право, это ведь тоже способ защиты. – Наверное, на моем лице выразилось удивление, потому что Глеб пояснил: – Ты не удивляйся, орел, у нас ведь не только рукопашная. Приходится частенько, как бы это сказать, умом, понимаешь, хитростью схватываться. И когда обвиняемый молчит, он как бы приглашает: валяйте вы свои карты на стол, а я свои приберегу, имею право не в очередь ходить, понял? Я ваши карты погляжу, а потом свои козыри обмозгую. Так что пусть молчит...

– А как же мы будем? – спросил я.

– А очень просто. У нас свое дело – будем с уликами работать. Панков сейчас приедет – даст указания. А Груздев пусть сидит себе, думает. Денечков пять его совсем трогать не надо – пусть поварится в собственном соку. Он всю свою жизнь за это время переберет, все свои прегрешения вспомнит! Да еще прикинет, в чем мог ошибиться, промашку дать, что мы еще вынюхали, что ему на стол выложим завтра. Это он сейчас от нервного шока спал, а вскорости спать перестанет, это уж будь спок...

Приехал Панков, Жеглов отрядил меня в его распоряжение, а сам умчался куда-то с Тараскиным.

Панков поставил в угол свои шикарные галоши, на гвоздь повесил зонтик и посмотрел на меня поверх стекол очков, и снова вид у него был такой, будто он прикидывает, боднуть меня посильнее или можно повременить.

Видимо, решил не бодать меня пока, потому что пожевал усердно верхнюю губу и коротко распорядился:

– Дайте мне протокол осмотра...

Я принес ему дело, раскрыл на первой странице, а Панков снял с переносицы и принялся тщательно протирать очки. Делал он это очень неспешно, чистеньким ветхим носовым платком, и я снова подумал, что очки у него какие-то совсем старинные, таких теперь и не носит никто: круглые, без оправы, с желтенькой пружинкой и шнурком. Нацепил он окуляры, рассеянно махнул мне рукой – рядом, мол, садись – и принялся читать протокол, делая маленьким золоченым карандашиком какие-то непонятные отметочки на полях. Дочитав, сказал:

– Классическое корыстное убийство. Обратите внимание, молодой человек: при эмоциональных преступлениях, то есть под воздействием сильных страстей, виновные откровенны. Напротив, при корыстных мотивах они зачастую отрицают вину до последней возможности. Вчера я уже говорил об этом нашему другу Глебу Георгиевичу, но он был несколько... э... самонадеян. Отсюда следует, что, не дожидаясь признания обвиняемого, мы должны доказать его вину при помощи улик, прямых, а также косвенных. Вы ведь только начинаете? – Он снял очки, и на переносице от пружинки остался глубокий красный след. Я кивнул, а он, не глядя на меня, продолжил: – Это дело мне кажется достаточно хрестоматийным для того, чтобы вы могли получить первое глубокое впечатление об основных признаках работы, которой собираетесь посвятить себя...

– Сергей Ипатьич, а почему вы считаете это дело хрестоматийным?

– Да потому, что преступление совершено человеком неопытным и он оставил нам улики, достаточные для трех убийств. Нам остается только исследовать их, закрепить и законным порядком привязать, так сказать, к данному делу. И тогда можно его направлять в суд, даже если обвиняемый и не соизволит сознаться: улики обвинят его сами!

– А если улики не подтвердятся? – спросил я.

– Как это «не подтвердятся»? – удивился Панков. – Должны подтвердиться!.. Впрочем... э... не будем загадывать, мы же не на семинаре.

Но я человек дотошный и, несмотря на то что Жеглов уже не раз ругал меня за введливость, все-таки переспросил:

– Хорошо, как все сойдется, а если нет? А Груздев не колется...

Панков покашлял, пожал узкими плечиками, словно я бог весть какой глупый вопрос задал:

– Гм... Гм... Ну-у... если не сойдется... и обвиняемый отрицает вину... Суд тогда оправдает его.

– А как же убийство? – допытывался я. – Кто отвечать-то будет?

– Видите ли, молодой человек, наука считает, что не существует нераскрываемых преступлений... Так сказать, теоретически. Так что нам с вами надо поднатужиться...

– Так давайте поднатужимся, – сказал я, потому что и мне эта волынка уже начала надоедать. – Какие будут указания?

Панков, словно обрадовавшись, что я отстал от него со своими дурацкими вопросами, удовлетворенно покивал головой и сказал:

– Берите бумагу, ручку, пишите...

Ручки я не нашел, но в планшете у меня – я его с войны привез – был командирский карандаш, взял я его на изготовку, а Панков начал диктовать:

– Баллистическая экспертиза. Вопросы. Являются ли пуля и гильза, обнаруженные на месте происшествия, частями одного патрона? Можно ли выстрелить этим патроном из пистолета «байярд», обнаруженного в Лосиноостровской? Выстрелена ли пуля из того же пистолета? Выброшена ли гильза из того же пистолета? Пригоден ли к стрельбе тот же пистолет? Следственным и оперативным путем искать ответ на вопрос, почему преступник при наличии фирменных патронов «байярд» воспользовался патроном другой марки...

Я торопливо записывал, боясь упустить хоть одно слово, хотя мне и непонятно было, кому нужны эти тонкости, и без того очевидные. Но Панкову, думаю, лучше известно, что надо делать.

– Медицинская экспертиза, – диктовал он. – Вопросы. Возможно более точное установление времени смерти... Стоматологически – изготовить слепок следа укуса на шоколаде для последующего сравнения с контрольными образцами... Получить таковой у обвиняемого Груздева... Далее. Исследовать групповую принадлежность слюны на окурках папирос «Дели»... Дактилоскопическая экспертиза. Проявить все обнаруженные отпечатки пальцев, сравнить с отпечатками потерпевшей, ее мужа, сестры на предмет идентификации... Комплексная химическая и органолептическая экспертиза. Выявить тождественность жидкости в бутылке с этикеткой «Азербайджанское вино. Кюрдмир» этому вину, установить наличие либо отсутствие каких-либо примесей в исследуемой жидкости, в положительном случае исследовать примеси...

Я так много и так быстро писать не привык – пальцы замлели, и я потряс ими. Панков пообещал:

– Скоро закончим. Пишите: графическая экспертиза. Установить, кем исполнена – не Груздевым ли? – записка угрожающего содержания. Для чего изъять образцы произвольного письма Груздева, контрольный текст свободного письма и текст, исполненный обвиняемым под диктовку... Далее: следственным путем проверить содержание всех письменных документов, изъятых с места происшествия. Допросить сослуживцев потерпевшей и обвиняемого, его сожительницу. Оперативным и следственным путем – активные и неотложные меры розыска имущества потерпевшей, похищенного из ее дома... Все. – И Панков с облегчением, хотя и не без самодовольства, посмотрел на меня.

– Более или менее понятно, – сказал я. – Это мы будем исполнять?

– Со мной в контакте. Для начала я вынесу постановление об экспертизах, а вы свяжетесь с экспертами.

Оставив для нас целый список неотложных «оперативных и следственных мероприятий», Панков положил в футлярчик очки, надел свои резиновые броненосцы, взял зонтик, отбыл;

и почти сразу же пришел Жеглов, чем-то весьма довольный. Но расспрашивать его я не стал: захочет – сам расскажет, а показал ему панковский список.

– Солидно, – хмыкнул Жеглов. – Но все правильно. Черт старый, следственные дела мог бы и себе оставить, нам оперативных выше головы хватает. Да ладно уж, у них дел по тридцать на одного следователя в производстве. Если мы станем дожидаться, пока он сам сделает... Э-эх, ладно. Пошли питаться?

Питаться – это хорошо! Я питаться в любой момент был готов, прямо ненормально есть все время хотелось, как троглодиту какому-то. Я уж и курить побольше старался, – говорят, аппетит отбивает, но у кого, может, и отбивает, да только не у меня. Американцы, когда мы с ними на Эльбе встретились, все время резинку жевали. Не от голода, конечно, мы все там сытые были, куда уж, а от баловства; привычка у них такая. Эх, сейчас бы иметь запас такой резинки, я бы ее все время жевал, все ж не так голодно. Да чего там, где она, та резинка, да и харчи наши фронтовые вспоминать не хочется...

– Есть, товарищ начальник, питаться. Разрешите идти?

Не успел Жеглов рта раскрыть, в дверь постучали. Вошел генерал, летчик, плащ на руках. И орденов тьма-тьмушая – у летчиков-то их всю жизнь больше всех было! – и Звезда Героя. Мы оба по стойке смирно:

– Здравия желаем, товарищ генерал!

А он сказал:

– Вольно. Это МУР?

– Так точно, товарищ генерал, – сказал Глеб и представился: – Старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан Жеглов!

– Очень приятно, – улыбнулся генерал. – Моя фамилия Ляховский.

– А-а, как же, как же, товарищ генерал... – тоже заулыбался Глеб, а я сразу вспомнил, что он мне на дежурстве рассказывал, да не дорассказал про украденную у генерала «эмку». – Нашли вашу голубушку, уж постарались как положено...

– Точно. Все в полном порядке. А я-то расстроился – привык к ней, и вообще обидно: из-под носа увели, мерзавцы. Но доблестная милиция оказалась на высоте...

– Иначе невозможно, товарищ генерал, – гордо сказал Жеглов. – Неужели дадим распоясаться преступному элементу в нашей славной столице? Да еще машины у наших замечательных героев воровать? Никогда!

Ляховский подошел, взял Жеглова за руку, сказал с чувством:

– Вот я и зашел – дай, думаю, лично поблагодарю товарищей. Молодцы.

– Правильно, Александр Васильевич! – одобрил Жеглов. – А то у нас работают ребята как звери, а благодарности сроду не дожدهшься. Конечно, мы не за спасибо работаем, но слово доброе, а уж от такого человека, как вы, особенно дорого.

Генерал добродушно улыбался, и было видно, что слова Глеба ему приятны. А тот уже совсем обжился:

– Александр Васильевич, нам ничего такого – ни письма в газету, ни разных там других подобных вещей – не нужно. А вот зашли – и это нам исключительно радостно и приятно...

В лице Ляховского появились сразу и озабоченность, и облегчение.

– Слушайте, да ведь это мысль – насчет газеты! Мне самому как-то в голову не пришло. У вас своя газета?

– Да, «На боевом посту», здесь же и находится.

– Прекрасно. Просто прекрасная мысль. Вы меня извините, я не расслышал – ваша как фамилия?

– Жеглов, капитан милиции, – скромно сказал Глеб.

– А ваша? – повернулся генерал ко мне.

– Старший лейтенант Шарапов, товарищ генерал-майор, – по-уставному ответил я и добавил: – Только, разрешите доложить, я к этому делу ни малейшего отношения не имею...

– Ясно, – кивнул генерал, что-то записал в маленькую книжечку в алюминиевой обложке, попрощался с нами за руку и ушел.

– Глеб, ты что? – спросил я. – Мы-то здесь при чем? Ведь машину, как я понимаю, ребята из розыскного отделения ОРУДа нашли, нет?

Жеглов удивленно посмотрел на меня:

– Ну и что? Как это «мы здесь ни при чем»? Что ж, по-твоему, ребята из ОРУДа посторонние нам? Ты эти закидоны брось, Шарапов, мы одно дело делаем. Нас хвалят, – значит, их хвалят. Их ругают, – значит, нас ругают. И я не знаю, где ты привык, Владимир, вот так выставляться – на разведчика даже и не похоже...

Мне как-то совестно стало, но потом я вспомнил про газету и сказал:

– Вот напишет он в газету, что ты его «эмку» нашел, тогда покрутишься...

– Кабы ты чуток умнее был, Шарапов, то знал бы, что фамилии оперативных работников газета не оглашает. Напечатают заметку, вырежут и направят кому следует. А Жеглов, коли надо будет, пригласит на комсомольское собрание героя-летчика Ляховского – это всем полезно и интересно. Уразумел?

Все это он произнес уже по дороге в столовую, и мне оставалось только подивиться находчивости Жеглова и его быстромыслию. Я ему так и сказал и добавил, что у нас в разведке очень не хватало такого парня, как он. А Глеб засмеялся, ему мои слова понравились, он обнял меня по-дружески за плечи и сказал:

– Ладно уж, мыслитель! Давай подзаправимся – и марш к экспертам, нам с груздовским делом телиться нечего, закончим его по-быстрому, и пора всерьез «кошками» заняться, что-то надоедать они мне стали...

ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В продукции артели «Метпромсоюз» видное место занимают врезные дверные замки, инструменты, металлоизделия, алюминиевая посуда. Освоены стулья, шкафы, пружинные матрасы. Среди новинок, которые появятся еще в текущем году, – металлические детские сани, трехколесные велосипеды, электропроигрыватели, шашки и домино из пластмассы.

«Труд»

На другое утро, едва мы вошли в дежурную часть, Соловьев бросил телефонную трубку на рычаг и крикнул:

– По коням, ребята! «Черная кошка» опять магазин взяла...

И пока наш старый верный «фердинанд» катил в сторону Савеловского вокзала, я думал о том, что у Жеглова наверняка есть дар предчувствия – только вчера перед вечером он говорил со мной о «кошках». Сейчас он сидел впереди у окна, нахохлившийся, сердитый, мрачно смотрел на нас.

Тараскин спросил у Гриши:

– А почему картина называется «Безвинно виноватая»?..

Гриша захохотал, а Жеглов сказал сердито:

– Вот если я еще раз узнаю, что ты сторублевку от жены в ствол пистолета заначиваешь, я тебя сделаю по вине виноватым.

– А как быть, Глеб Георгиевич? – взмолился Коля. – Ей бы с нюхом-то ее у нас работать! В прошлый раз в кобуре спрятал – нашла! А пистолет трогать она все-таки опасается...

Я устроился на задней скамейке и куском проволоки силился прикрепить подметку – ботинок всюю просил каши. Проволока, к сожалению, была сталистая – она пружинила, выле-

зала из шва и держала неважно. Но я надеялся дотянуть хоть так до вечера, а дома уже разобратся с подметкой всерьез...

Это был, собственно говоря, не магазин, а склад: мелкооптовая продбаза на Башиловке, недалеко от милицейского общежития. Старый двухэтажный кирпичный дом без окон, длинный навес для машин и подвод, небольшой грязный двор, огороженный для блезиру хлипким забором. Во дворе, около забранной жестью двери, ведущей в склад, толпились люди в телогрейках поверх белых халатов, их сердито расспрашивал о чем-то небольшого роста мужчина в кожаном пальто и комсоставской фуражке. По тому, как почтительно ему отвечали, я сообразил, что сытый кожаный дядя и есть какое-то высокое продовольственное начальство. Рядом с дверью стоял участковый с безучастным, скучающим лицом – охранял место происшествия.

– Сторож где? – спросил Жеглов участкового, и тот кивнул на древнего дедка с зеленой от махорки бородой.

Жеглов подозвал его, и дед, шамкая, непрерывно сморкаясь из-под руки, начал длинно и путано объяснять, что шел дождь, что он укрылся от него под навесом – с фасада, – что он недослышит по старости – «вот они, жулики, знать, сзаду и подобрались». Ни того, как вошли в склад воры, ни как вышли, дед не слышал, по-видимому, крепко спал и покражу обнаружил, когда рассвело и он увидел вырванный вместе с петлями навесной амбарный замок.

Пасюк остался осматривать дверь и замок, остальные в сопровождении директора прошли внутрь базы. Еще на двух дверях были взломаны замки: вскрыли винно-бакалейную и мясную секции. Сначала осмотрели мясную, внутри которой от холодильных установок был декабрьский мороз.

На перевернутом ящике сидел совершенно окоченевший котенок; маленький, черный, он разевал красный треугольный рот и жалобно, протяжно мяукал.

Директор сказал растерянно:

– Вот он – их бандитский знак...

Глупость, конечно: ну какой там знак – обычный маленький котик! Но оттого что подбросили этот жалкий мяукающий комочек бандиты, все смотрели на него с удивлением, интересом, а некоторые – просто со страхом, будто был этот несчастный котенок ядовитым.

Жеглов поднял его за шкурку и вглядывался в него, будто прикидывал, нельзя ли получить от него какие-нибудь сведения. Но кот только мяукал, судорожно поводя растопыренными лапками.

– А не мог кто-нибудь из сотрудников его здесь оставить? – спросил Глеб.

– Что вы, товарищ начальник! – взмахнул блестящими кожаными рукавами директор. – Санинспекция запрещает, да и некому тут...

Жеглов сунул котенка Тараскину, Коля спрятал его за пазуху, и кот сразу затих.

– Тогда считать мы стали раны... – сказал Жеглов. – Давайте смотрите, что взяли...

Завсекцией, здоровенный красноносый мужик с медвежьими глазками, оглядываясь по сторонам, бормотал:

– Так, вроде все на месте... Ага... Ага... Вторая камера и была отпертая, нет в ей ничего... Ага... – И вдруг голос его упал; он повернулся к директору, и на лице его был испуг. – Варган Иваныч, меланж!

– Что «меланж»? – раздраженно спросил директор. – Украл?!

– Украл... – тихо сказал завсекцией и пояснил нам: – Банка здесь была, двадцатикилограммовая, к праздникам держали...

– Меланж – это что? – спросил Жеглов.

– Яичный порошок, – торопливо сказал директор. – Высшего качества, импортный... Ай-ай-ай, для госпиталя приготовили, а они, сволочи...

– Консервов нет, – объявил завсекцией. – Три ящика американских, с ключами...

– Мясо? – коротко спросил директор.

– Не, бекон, мясо уже распределили...

– Ящики большие? – спросил Жеглов. – Тяжелые?

– Метровые, – буркнул завсекцией... – В ширину по полметра будут. Примерно, конечно. А вес брутто я вам точно сейчас скажу... – Он достал из кармана пачку накладных, пошелестел ими. – Вот... Двенадцать дюжин банок... так... нетто... Вот, брутто – семьдесят два кило, без ящика...

– Понятно, – кивнул Жеглов. – Остальное в сохранности?

– Да вроде... – неуверенно протянул завсекцией. – Инвентаризацию надо делать...

В винно-бакалейной секции преступники взяли ящик наливки «Спотыкач», коробку шоколада «Серебряный ярлык», ящик сахара – тридцать пять килограммов, пять пачек папирос «Герцеговина Флор».

– А почему вы думаете, что пять пачек? – спросил Жеглов молоденькую заведующую, испуганно глядевшую на оперативников.

– Я не думаю, я точно... – сказала она уверенно. – В одной вязке – двадцать пачек. Всего вязок было три, две вон лежат, а одна была начатая, я лично десять пачек в Наркомат заготовок отпустила. Значит, десять еще оставалось, а в наличии – видите? – только пять.

– Так-так... – Жеглов походил по секции, обратился ко мне: – Ну, орел, какие есть соображения?

Мне сделалось неловко, потому что никаких особых соображений не было и я уже пару раз ловил себя на пустом мечтании, что, если бы можно было залететь на место происшествия аккуратно в тот момент, когда там жулики шуруют, вот тут бы я себя показал, я бы им, сволочам, устроил! Но поскольку все это было несерьезно, я для солидности покашлиал в кулак и сказал:

– Я так полагаю, что жуликов человек пять было: каждый себе взял по пачке «Герцеговины». А больше брать не стали, потому – баловство и руки товаром, понимаешь, заняты... Так? – И поскольку Жеглов ничего не говорил, сам себе ответил: – Я полагаю, так. Теперь: им тут ночевать некогда, а ящики тяжелые, вдвоем еле унесешь... сколько их, мест, значит, постой... Три да одно – четыре, да еще три – семь мест, семь ходок, значит, если вдвоем. А сюда ходить, что ни говори, – риск, в любой момент могут застукать. Значит, вчетвером – всего три-четыре ходки... Надо во дворе следы искать, они от тяжести должны быть глубокие, да пролом в заборе – там, где добро вынесли...

Когда, выйдя во двор, мы обнаружили близ забора четыре пары явственных следов, а в конце их цепочки три доски, выбитые из забора, а потом аккуратно вставленные обратно, Жеглов сказал, усмехаясь:

– Следопыт! Везет тебе – вон какая погода стоит сырая, земля каждый отпечаток сохраняет. Только вот с асфальтом как будем?..

Действительно, с асфальтовым тротуаром за забором оказалось сложнее: был он грязен, безнадежно затоптан сотнями с утра прошедших здесь людей, и о том, куда двинулись отсюда воры, судить было трудно. Впрочем, мы все сошлись на одном, наиболее вероятном: жулики прямо к пролому в заборе подогнали машину, быстро погрузили похищенное и скрылись.

Пока эксперт гипсовал следы во дворе, Жеглов в кабинете директора базы провел небольшое собрание.

– Значитца, так, товарищи, – сказал он коротко и ясно. – О том, как вы охраняете народное добро, об этом будет отдельный разговор, и виновные ответят по всей строгости. Я тут прикинул – взяли у вас товаров тысяч на восемьдесят. По рыночным ценам, конечно. Это раз. Дальше: организуйте комиссию, чтобы снять остатки и навести учет – все ли похищенное зафиксировали и так далее. Без обид и, как говорится, без личностей хочу предупредить: не

дай вам бог – кому-нибудь из матерьялыщиков – вздумать примазать чего-нито к похищенному: воры, они ведь все как есть покажут, когда возьмем мы их...

И столько было несокрушимой уверенности у Жеглова в том, что он возьмет воров, будто за угол выйдет и из соседнего дома дворника приведет, что кладовщики враз и согласно закивали, прижимая к сердцу руки: мол, дело ясное, всем понятное и как же может быть иначе?

А он продолжал свою речь:

– Это, значитца, два. И третье: нынче же обеспечьте охрану социалистической собственности должным образом, а то вас вчерашние гости по новой оглоушат! Все...

Я приехал в Управление около шести часов и сразу же направился в столовую. Я уже заметил, что все последнее время испытываю неутраченное чувство голода – даже не голода, а какой-то хронической несытости. Наверное, мой здоровый организм бунтовал против скудного городского пайка, привыкнув к доброму армейскому приварку, который к тому же разведчики ухитрялись усиливать и разнообразить за счет «боевой подвижности и тактического маневра по тылам врага», как выражался старшина Форманюк.

Над окошком кассы клочок бумаги доводил до сведения сотрудников: «Имеются в продаже белковые дрожжи (суфле) в качестве дополнительного бескарточного блюда». Я охотно выбил чек на три порции суфле, рассудив, что после долгого пребывания на воздухе полезно поддержать гаснущие силы любыми средствами, и пошел в зал. У раздачи назревал скандал; красный от возмущения Пасюк, держа на огромной ладони тарелку, допрашивал молоденькую веснушчатую повариху:

– Шо це таке за суп, перший раз бачу – холодная вода з рисом та сухофруктамы? Як его исты?!

– Да вы поймите, – оправдывалась курносая, – это заграничное ресторанное блюдо, очень вкусное и полезное, – фруктовый суп!

– Та плювать мени на заграницю, я ее усю ногами пройшов! Якой то суп, як вин сладкий, то не суп, а компот! А з рыса гарна каша, а не компот, тю... Борщ мени давайте! – И Пасюк решительно сунул девушке тарелку.

– Вот народ несознательный, – посетовала повариха, но спорить не стала и налила Пасюку полную до краев тарелку борща; и он пошел, довольный, за столик, а несознательный народ вокруг, досыта насмеявшись, стал просить девушку выдавать борщ на первое, а новомодный суп – на третье.

Мне удалось получить у нее оба супа, у другой раздатчицы я взял гуляш и три стакана суфле – густой серой жидкости с фиолетовым оттенком, не слишком аппетитной на вид, – и пристроился на освободившееся место у окна, рядом с Пасюком, который, покончив с борщом, сообщил мне последние новости. По заданию Жеглова он побывал на работе у Ларисы Груздовой, в драмтеатре, и узнал, что за день до убийства она уволилась. В костюмерной она говорила, что собирается для начала отдохнуть на юге.

– А где именно, с кем? – поинтересовался я.

– Вона казала, що у Крым поидет, чи как... Або з ким – невидомо. Кажуть ти костюмеры, шо дуже гарная була вона баба, добра та несварлива. Принесла, кажуть, на прощание торт, та була дуже в гарном настроєнні...

Я обсосал мослы, которые назывались гуляшом, подумал вслух:

– Странно... Надя ничего насчет ее увольнения и поездки на юг не говорила. Надо бы ее переспросить – не могла же она не знать о таких планах Ларисы?

– Должна была знаты, – согласился Пасюк. – Тем более шо у тот же день Лариса сняла со сберкнижки уси свои гро`ши...

– Какие гро`ши? – удивился я. – У нее разве были деньги?

– Булы, – подтвердил Пасюк. – Жеглов по телефону разузнав, иде воны булы, в какой касси, а я поихав. Кассирша справку дала – от, бачь...

Пасюк вынул из кармана гимнастерки сложенный вчетверо листок – справку сберкассы. Счет Ларисы был заведен в тридцать девятом году, постепенно пополнялся и достиг к двадцатому октября восьми тысяч пятисот рублей, которые в этот день были получены полностью.

– Сразу все деньги сняла?... – удивился я.

– От и кассирша мени казала, шо просыла ее счет нэ закрывать, хоть пять червонцив оставить... Алэ Груздева отказалась...

Попробовал суфле – это было довольно вкусно, и я с удовольствием выпил все три стакана. Пасюк дождался меня, и мы поднялись в кабинет. Пасюк устроился за столом писать рапорт о проделанной работе, а я, сытый и вполне удовлетворенный сегодняшним обедом, который был одновременно и ужином, принялся расхаживать по кабинету, размышляя о новостях, добытых Иваном. Мне казалось, что они имеют какую-то связь с происшедшими событиями, но уловить эту связь я пока не мог...

НУЖЕН УКСУС – БЕРИ «КАБУЛЬ»!

Странные порядки существуют в продмаге № 3 (Старопетровский пр.).

Если потребителю нужен уксус, то его можно купить только в комплекте с соусом «кабуль». Витаминная паста продается с таким же количеством фруктово-овощного повидла (по карточкам). На протесты потребителей завмаг отвечает: «У нас такой порядок. Не нравится – не берите!»

Из письма в редакцию

К вечеру движение и суета в коридорах Управления усилились. Я уже начал ощущать внутренние ритмы своего непростого учреждения и поэтому сообразил, что готовится очередная городская операция. Жеглов в таких случаях объяснял: «Изменилась оперативная обстановка в городе». Его самого с полчаса назад вызвали к руководству, и я видел, как по длинному коридору, ведущему к кабинету начальника МУРа, потянулись начальники отделов, бригад и опергрупп.

Тараскин сидел за большим столом, писал какие-то запросы. То ли бумага была дрянная, то ли перо царапало, а скорее всего, с письменностью у Коли было не слава богу, но строки на листе расплывались, задирались буквы, помарки и кляксы росли, пока, чертыхаясь, Коля не взял новую страничку и не принялся писать запрос заново.

Иван Пасюк читал учебник истории. Время от времени он, поднимая голову и раздумчиво чмокая сухими губами, говорил, ни к кому не обращаясь:

– Елки-палки, це ж надо – Столетняя война! Це ж надо – сто лет воевать! С глузду зыхать можно...

Пасюк учился в шестом классе вечерней школы, учился безнадежно плохо, и его грозились перевести обратно в пятый класс. По литературе учительница уже отказалась аттестовать его в первой четверти, потому что в домашнем сочинении «Почему мы любим Гринева и ненавидим Швабрина?» Пасюк написал: «Я не люблю Гринева, потому что он бестолковый барчук, и не скажу, что ненавижу Швабрина, потому как он хотя бы вместе с Пугачевым стоял против ненавистного царизма». Жеглов, узнав об этом сочинении, хохотал до слез и сказал, что Пасюка правильно выгонят из школы – если ты такой умный, то ходи в Академию наук, а не в шестой класс...

Шесть-на-девять рассказывал мне какую-то невероятную историю о том, как его безумно любила известная укротительница зверей, но ее отбил у него поляк-фокусник, обращавшийся к дрессировщице не иначе как «наипенькнейшая паненка»... Врал Гриша безыскусно, но вдохновенно, и, глядя сейчас на его толстые очки, запотевшие от возбуждения, вздымающуюся цыплячью грудь и широкие взмахи тощих рук, я не сомневался, что фотограф и сам верит в

эту небывалую любовь с укротительницей. Гриша наверняка бы еще многое припомнил из их замечательного романа, но пришел ухмыляющийся Жеглов и скомандовал:

– Подъем, братва! Общегородская операция...

Начальство распорядилось проверить опергруппами – при поддержке территориальной милиции – все неблагополучные места, где имеет обыкновение собираться преступный элемент, «безопределенщики» и девицы сомнительного поведения.

Жеглов похохатывал своим звонким баритончиком и мотал головой, будто его кто-то щекотал.

– Ничего смешного не бачу, – сказал Пасюк. – Операция як операция. Нормальная очистка...

– Это-то точно, но вот другое смешно, – веселился Жеглов. – Поп из церкви у Покровки, епископ Филимон, вчера двух девок домой пригласил, уж не знаю, каким макаром он их там исповедовал, только надергались они сливянки. Поп, естественно, так жрать наливку не может, как эти девицы, и заснул. А они махнули у него наперсный крест золотой и подорвали оттуда когти...

– Что же это, выходит, из-за попа какого-то блудного весь сыр-бор загорелся? – возмущенно вздыбился за столом Тараскин, которому уже до смерти надоела писанина.

Жеглов резко оборвал смех, будто швейной машинкой губы состригнул. Посмотрел на Тараскина сверху вниз, потом, избочась, словно разглядеть хотел, откуда этот фрукт тропический здесь взялся, сказал не спеша и каждое словечко, как семечко, через губу сплевывал:

– А по-вашему, товарищ Тараскин, выходит, что если он не токарь, а культовый служитель, то ему в нашей стране и правозащита не гарантирована?

– Пусть с бабами срамными не валандается, – мрачно сказал Коля.

– Твоя забота, Тараскин, преступление раскрывать, а не за моральным обликом епископов следить. А уж синод ихний пусть разбирается по части блуда... Мы же с тобой должны разыскать вещь, имеющую огромную художественную ценность, понял? Они завтра этот византийский крест сплавят барыгам, а те его в лом переменут, им наши культурные ценности до лампочки.

Мне было не очень понятно, чего это так Глеб сердцем ударяется об украденный епископский крест, но я уже научился улавливать оттенки жегловских интонаций, особенно когда тот «воспитывал» опергруппу, и мне показалось, что весь этот разговор – просто так. Еще утром я видел в дежурной части попа – дряблого тряпочного мужичишку с постным благостным лицом, без признаков возраста или особых примет. И мне показалось неправдоподобным, чтобы такой невзрачный человек еще интересовался женщинами.

А сейчас, слушая Жеглова, я понял, что уж конечно не из-за неудачных походов попопа руководство назначило общегородскую операцию. Видимо, по чьей-то разработке ищут какого-то преступника, связанного с женщинами, а информировать аппарат шире считают нецелесообразным. А уж заодно велено приглядеться к девкам, которые могли украсть крест.

И окончательно убедился я в своем предположении, когда Жеглов сообщил приметы – приметы трех женщин. Взглянул я на Пасюка и по его спокойному и невыразительному лицу понял, что тот думает так же, как я. Тараскин еще бурчал что-то себе под нос, но его уже поволокло за собой увлеченный азартом предстоящей облавы Шесть-на-девять...

В коммерческом ресторане «Нарва» было намечено закончить наши бесполезные вечерние странствия – попадалась все мелочь, шушера. Мы подошли к дверям, и швейцар с красным костистым лицом закричал сердито, так, что жилы веревками надулись на висках:

– Заняты все места! И не ломитесь, граждане! Имейте совесть и честь!

Жеглов засмеялся:

– Вот как раз у тебя и займем маленько! Открывай, мы из МУРа...

Опали жилы на висках, и засветился масляной улыбкой, душой возрадовался, желто оскалился швейцар, будто папа родной забежал на огонек, стопку дернуть, о дорогом поговорить.

– Заходите, товарищи, заходите, для вас местечко мигом сорганизуем...

Тараскин гордо сказал:

– Наше место давно без вас сорганизовано!

Жеглов покосился на него, хмыкнул, сказал негромко и веско:

– Дверь на замок, никого не выпускать – проверка документов. Ты, Шарапов, стой у дверей...

Плотной литой группой ввалились они в зал. Жеглов махнул рукой оркестру, наявившему модную «Розамунду», и музыканты послушались его сразу, как хорошего дирижера. Еще мгновение глухо бубнил и бился о потолок ресторанный волглый шум, и в углу сильно хмельной мордач орал блажным голосом: «О-о, Роза-мунда!...»

– Граждане, прошу прощения, – сказал Жеглов. – Простая формальность – приготовьте свои документы и сидите спокойненько на своих местах...

Он быстро обходил столики небольшого ресторана и, внимательно прочитав документы, тщательно осматривал владельцев паспортов и удостоверений; и взгляд его был так плотен и тяжел, что даже мне со стороны казалось, будто Жеглов ощупывает лица людей. И чувствовали они себя под его взглядом, наверное, неуютно, потому что, получив назад документ, многие облегченно вздыхали и говорили спасибо.

Тем, у кого документов не было, Жеглов вежливо и бесповоротно твердо предлагал отходить в сторону, где их ждал безмолвный и несокрушимый Пасюк. Все они возмущались и доказывали Пасюку, что задерживать их не имеют права. Пасюк кивал головой согласно:

– Совершенно верно. Абсолютно справедливо. Алэ документы трэба носить с собой.

Я так увлекся этим зрелищем, что подошел к дверям в зал и не сразу услышал, как позади скрипнула входная дверь. Мгновенно я обернулся и увидел, что костистый швейцар тихонько задвигает вновь щеколду, а дверь в дамский туалет еще приоткрыта. Я крикнул громко:

– Тараскин, на мое место! – оттолкнул швейцара и выскочил на Самотеку.

Впереди меня через Садовое кольцо бежала женщина. Я рванул за ней, но у скоса трогуара зацепился левым ботинком за камень, и проклятая подошва, которая все эти дни дышала на ладан, с треском отлетела. Бежать с оторванной подметкой было очень неловко, но я ведь все равно бежал гораздо быстрее женщины – смешно и говорить, непонятно, на что она рассчитывает!

– Гражданка, остановитесь! – крикнул я сердито, но она побежала еще быстрее, и, судя по скорости, это была совсем молодая и очень здоровая женщина.

Из музыкальной детской школы на углу высыпала целая толпа детворы с родителями. Я почему-то подумал о том, что дети занимаются в три смены – до позднего вечера, – и эта совершенно неуместная сейчас мысль меня разозлила. Девушка, которая и так была плохо видна в темноте, врезалась в толпу людей со скрипичными футлярами и папками. Но мои глаза уже привыкли к сумраку, и я разглядел ее светлую косынку и еще увидел, что она схватила за руку какого-то пацана, взяла у него нотную папку и чинно зашагала рядом. Проволакивая за собой совсем отлетающую подошву, я догнал их и схватил ее за плечо:

– Эй, мадам, вас касается! Я вам кричу!

– Мне? – подняла она белесые, подкрашенные карандашом брови. – А чего надо?

Мальчишка с футляром, обалдевший от происходящего, онемело смотрел на нас.

– Отдайте ребенку папку и следуйте за мной! – строго сказал я.

Девушка посмотрела на меня с прищуром, видимо соображая, что открытись не удастся и номер ее не выгорел, хрипло засмеялась и сказала:

– Вот же суки, консерваторию кончить не дадут!.. – сунула папку в руки мальчику и пошла вместе со мной.

Я ввел ее в вестибюль ресторана, держа за руку, и грозно придвинулся к швейцару, пятившемуся к своей тумбочке у входа в туалет.

– Вы почему выпустили отсюда эту женщину?

– Так я... значит... думал... я не понял... решил, что с вами... – млея и блеял старик, и лысая хрящеватая голова его, как китайский фонарик, меняла постепенно цвета от блекло-серого до воспаленно-багрового.

В это время вышел из зала Жеглов и как ни в чем не бывало сказал:

– Молодец, Шарапов, хорошо бегаешь. Маленько внимательности еще – цены тебе не будет. Ба! Да это же знакомые мне лица! – воскликнул он, широко разводя руки, словно хотел обняться с задержанной девицей, но обниматься и не подумал, а сказал жестко: – Я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют, ты все такая же попрыгунья-стрекоза. Считай, что лето красное ты уже отпела, пора тебя за сто первый километр выселять...

Я только сейчас как следует рассмотрел Маню: хорошенькое круглое личико с круглыми же кукольными глазами, губы накрашены сердечком, а завитые желтые локоны уложены в модную сеточку с мушками. Под круглым зеленым глазом светился наливной глянцевиный фингал, переливающийся, словно елочная игрушка.

Жеглов обернулся в зал и скомандовал:

– Пасюк, Тараскин, усаживайте беспаспортных в автобус! – Потом повернулся ко мне. – Вот, Володя, довелось тебе поручкаться с Манькой Облигацией – дамой, приятной во всех отношениях. Только работать не хочет, а наоборот, ведет антиобщественный образ жизни...

– А ты меня за ноги держал, мент проклятый, чтобы про мой образ жизни на людях рассуждать?! – бешено крикнула Манька Облигация и выругалась матом так, что я, глядя на эти губы сердечком, выбросившие в один миг залп выражений, не всякому артиллерийскому ездовому посильных, просто ахнул от неожиданности.

Жеглов рассмеялся и сказал:

– Ох, Маня, Маня, ты мне так молодого человека совсем испортишь...

Он огляделся, нашел взглядом швейцара, тулившегося в тени около раздевалки, кивнул ему:

– Я о тебе, старик, чуть не позабыл в суматохе. – Подошел к его тумбочке, бесперомонно открыл шкафчик и стал выгребать оттуда обеими руками пачки американских сигарет «Кэмел», запечатанные маленькие бутылочки одеколона, заграничные презервативы, похабные открытки. – Да-а, у тебя тут целый спекулянтский склад. Магазин для кобелирующих личностей. Все, собирайся, старик, поедешь с нами...

Около нашего «фердинанда» Манька Облигация поскользнулась, я подхватил ее под руку и, подсаживая в машину, наткнулся рукой на браслет, плотно охватывавший запястье. В тусклом свете внутри машины было его не разглядеть как следует, но мне показалось, что браслет по форме сделан в виде змеи.

Жеглов встал на подножку, огляделся, махнул рукой:

– Трогай, Копырин. Наш паровоз, вперед лети...

Задержанные возбужденно переговаривались. Манька глянула на них с полным пренебрежением:

– Эй, вы, фраера битые, чего трясетесь? – захохотала и запела непристойную песню.

Копырин прислушался к словам, оторопело покачал головой и задумчиво сказал:

– Станный народ эти шлюхи – ни дома им не надо, ни семьи, ни покоя, ни достатка, а надобен им один срам!

Я пересел к Жеглову на переднее сиденье и негромко сказал:

– Мне кажется, что на руке у Маньки браслет в виде змеи.

– Да? – заинтересовался Жеглов и нагнулся к девице. – Маня, а не скажешь мне по старой дружбе, с кем это ты так красиво отдыхала?

– А тебе что? Неужто меня ревнуешь? Так ты только скажи, я тебе все время буду верная. Ты парень хоть куда! Губы у тебя толстые, а зад поджарый, – значит, в любви ты горячий...

– Про нас с тобой мы еще поговорим, а покамест ты мне про кавалера скажи. Может, я его знаю?

Манька засмеялась:

– Ты-то, может, и знаешь, а я вот имени-отчества его спросить не успела...

– А чего же ты побежала тогда?

– Так я только выходить из уборной стала, как и вы в дверь насунулись. Ну, думаю, пусть пройдут – мне с тобой лишний раз здороваться мало радости. А вы, оказывается, поголовный шмон затеяли...

– А чего же ты со мной поздороваться не хотела? – И добро, почти ласково, взяв ее за руку, погладил по рукаву Жеглов и, словно забыв, оставил ее ладонь в своей руке, только чуток, совсем еле-еле, потянул на себя – и вылезло из рукава запястье.

Даже здесь, в полумраке, я отчетливо разглядел червленую желтую ящерку с мерцающим зеленым глазком.

– Больно надо! Ты же обещал меня еще в прошлый раз упечь? – удивилась Манька очевидной глупости жегловского вопроса.

Жеглов отпустил ее руку и встал.

– Да, Маня, это ты, пожалуй, права. На сей раз я тебя точно упеку...

Толпой ввалились в дежурную часть, и Манька привычно направилась вслед за остальными задержанными к барьеру, но Жеглов остановил ее:

– Маня, с тобой у нас разговор особый, идем пошепчемся. – А дежурному крикнул: – Соловьев, проверишь этих пятерых, если в порядке – пусть гуляют. Швейцара не отпускай, мы с ним еще потолкуем про разные всякости. Рапорт тебе мои ребята принесут...

Махнул рукой мне – давай, мол, за мной, – вместе с Манькой мы поднялись на притихший и опустевший второй этаж, пришли в кабинет, не спеша расселись, и Жеглов сказал невзначай, будто случайно на глаза попалось:

– Красивый, Маня, у тебя браслетик...

– Еще бы! Вещь старинная, цены немало!

– Сколько платила?

Манька подумала немного, глянула Жеглову в лицо своими кукольными нежными глазами:

– Не покупная вещь-то. Наследство это мое. Память мамочкина...

– Ну-у? – удивился Жеглов. – Маня, ты же в прошлый раз говорила, что матери своей и не помнишь?

Манька сморгнула начерненными длинными ресницами, а глаза остались неподвижными, пустыми, без выражения.

– И чего из этого? Не отказываюсь! Память мамочкину папа мне передал, погибший на фронте, и сказал, уезжая на войну: «Береги, доченька, единственная память по маме нашей дорогой». И сам тоже погиб, и осталась я сироткой – одна-единственная, как перст, на всем белом свете. И ни от кого нет мне помощи или поддержки, а только вы стараетесь меня побольнее обидеть, совсем жуткой сделать жизнь мою и без того задрипанную...

Жеглов поморщился:

– Маня, не жми из меня слезу! Про маму твою ничего не скажу – не знаю, а папашку твоего геройского видеть доводилось. На фронте он, правда, не воевал, а шниффер был знаменитый, сейфы громил, как косточки из компота.

– Выдумываете вы на нашу семью, – сказала горько Маня. – Грех это, дуrolом ты хлебанный... – И снова круто заматерилась.

– Ну ладно, – сказал Жеглов. – Надоело мне с тобой препираться.

Маня открыла сумочку, достала оттуда кусок сахара и очень ловко бросила его с ладони в рот, перекатила розовым кошачьим языком за щеку и так, похожая на резинового хомячка в витрине «Детского мира» на Кировской, сидела против оперативников, со вкусом посасывая сахар и глядя на них прозрачными глазами. Жеглов устроился рядом с ней, наклонив чуть набок голову, и со стороны они казались мне похожими на раскрашенную открытку с двумя влюбленными и надписью: «Люблю свою любку, как голубь голубку». И совсем нежно, как настоящий влюбленный, Жеглов сказал Мане:

– Плохи твои дела, девочка. Крепко ты вляпалась...

И Маня спокойно, без всякой сердитости сказала:

– Это почему еще? – И бросила в рот новый кусок сахара и при этом отвернулась слегка, словно стеснялась своей любви к сладкому.

– Браслетик твой, вещицу дорогую, старинную... третьего дня с убитой женщины сняли.

Жеглов встал со стула, прошел к себе за стол и стал с отсутствующим видом разбирать на нем бумажки, и лицо у него было такое, будто он сообщил Маньке, что сейчас дождик на дворе – штука пустяковая и всем известная, – и никакого ответа от нее он не ждет, да и не интересуют его ни в малой мере ее слова.

А я вытащил из ботинка эту поганую проволоку и стал прикручивать бечевкой отрывающуюся подметку, но и с бечевкой она не держалась; я показал Жеглову ботинок и сказал:

– Наверное, выкинуть придется. Сапоги возьму на каждый день...

– А ты съезди на склад – тебе по арматурному списку полагается две пары кожаных подметок в год.

– Где склад-то находится?

– На Шелепихе, – сказал Жеглов и объяснил, как туда лучше добраться. – Заодно получишь зимнее обмундирование.

Мы поговорили еще о каких-то пустяках, потом Жеглов встал, потянулся и сказал Маньке:

– Ну, подруга, собирайся, переночуешь до утра в КПЗ, а завтра мы тебя передадим в прокуратуру...

– Это зачем еще? – спросила она, перестав на мгновение сосать сахар.

– Маня, ты ведь в наших делах человек грамотный. Должна понимать, что мы, уголовный розыск, в общем-то, пустяками занимаемся. А подрасстрельные дела – об убийствах – расследует прокуратура.

– По-твоему, выходит, что за чей-то барахловый браслет мне подрасстрельную статью? – сообщила Маня.

– А что же тебе за него – талоны на усиленное питание? Угрохали вы человека, теперь пыхтеть всерьез за это придется.

– Не бери на понт, мусор, – неуверенно сказала Маня, и я понял, что Жеглов уже сломал ее.

– Маня, что за ужасные у тебя выражения? – пожал плечами Жеглов. – Я ведь тебе сказал, что это вообще нас не касается. Ты все это в прокуратуре говори, нам – до фонаря...

– Как до фонаря?! – возмутилась Маня. – Ты меня что, первый день знаешь? Ты-то знаешь, что я сроду ни с какими мокрушниками дела не имела...

– Знаю, – кивнул Жеглов. – Было. Но время идет – все меняется. А кроме того, я ведь оперативник, а не твой адвокат. Кто тебя знает, может, на самом деле убила ты женщину, а браслетик ее – на руку. Как говорят среди вашего брата, я за тебя мазу держать не стану.

– Да это мне Валька Копченый вчера подарил! – закричала Манька. – Что мне у него, ордер из Ювелирторга спрашивать, что ли? Откуда мне знать, где он браслет взял?..

– Перестань, Маня, это не разговор. Ну, допустим, мог бы за тебя заступиться. И что я скажу? Маньке Облигации, по ее словам, уголовник Валька Копченый подарил браслет? Ну кто это слушать станет? Сама подумай, пустая болтовня...

– А что же мне делать? – спросила Манька, тараща круглые бестолковые глаза.

– Ха! Что делать! Надо вспомнить, что ты не Манька, а Мария Афанасьевна Колыванова, что ты человек и что ты гражданка, а не черт знает что, и сесть вот за этот стол и внятно написать, как, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Валентин Бисяев подарил тебе этот браслет...

– Да-а, написать... – протянула она. – Он меня потом за это письмо будет бить до потери пульса!

– Ты напиши, а я уж обеспечу, чтобы пульс твой он оставил в покое. Ему в этом кабинете обижать тебя будет затруднительно...

– Ему-то затруднительно, а дружки его? Они как узнают, что я его завалила, так сразу меня на ножи поставят...

– Поставят на ножи – это как пить дать, – согласился Жеглов. – Правда, они тебя могут поставить на ножи, если ты его и не завалишь. Это в том случае, если ты по-прежнему будешь шляться по их хазам и малинам, по вокзалам и ресторанам. Тебе работать надо – смотреть на тебя срамотно: молодая здоровая девка ведет себя черт-те как! Паскудство сплошное...

– Ты меня не совести и не агитируй! Не хуже тебя и не меньше твоего понимаю...

– Вот и видать, допонималась. Ну ладно, мне домой пора. Ты будешь писать заявление, как я тебе сказал?

Манька подумала и твердо кивнула:

– Буду! Чего мне за них отвечать? Он меня чуть под тюрьму не подвел, а я тут за него пыхти!..

Она удобно устроилась за столом Жеглова, глубокомысленно глядела в лист бумаги перед собой и, начав писать, вытянула губы трубочкой, словно ловила кусок сахара, который должен был прыгнуть со строки.

Жеглов подошел ко мне и сказал тихонько:

– Дуй в дежурную часть, приведи двух понятых – будем оформлять изъятие браслета... И найди Пасюка и Тараскина – пусть они едут на квартиру брать Копченого...

Рим, 30. ТАСС

По сообщениям печати, со склада в городе Комо похищены находившиеся там на хранении 27 ящиков, содержавших архив Муссолини, в частности его обширную переписку с Гитлером, Чиано, Черчиллем.

Валентина Бисяева, по кличке Копченый, доставить ночью в МУР не удалось – у себя дома он не был две недели, и Пасюк с Тараскиным, объехав несколько дам, у которых он мог, по их предположению, ночевать, вернулись ни с чем.

Его розыски могли бы затянуться, кабы не Манька Облигация, уже начавшая томиться от одиночества – ее пугало, что все никак не привозят Копченого, дабы он подтвердил и опознал свой подарок, освободив ее тем самым от обвинения в убийстве и грабеже; вот Манька и сказала утром Жеглову:

– А вы бы съездили в Парк культуры, он там часто ошивается, в бильярд катает...

Жеглов, взявший уже старые розыскные дела на Копченого, чтобы наметить план поиска, поднял на нее взгляд и сказал задумчиво:

– Вот это дельная мысль, Маня. Я вижу, что в тебе просыпается гражданское сознание!

– Чихала я на твое сознание! Он там закопался промеж картежников, как клоп в ковре, а я за него отдувайся! Мне тоже нет резона за чужие дела здесь париться!

Жеглов выписал из дел несколько адресов и имен, дал листочек Пасюку и велел им с Тараскиным объехать кандидатов.

– Вызывайте Копырина и жарьте на «фердинанде». А мы с Шараповым и Гришей на метро прокатимся. Часа через два вернемся, ты с дороги позвони – какие там вести...

Пока мы катили в вагоне, шли через Крымский мост и по набережной, срезая наискосок выставку трофейной фашистской техники, Шесть-на-девять рассказывал о том, как он замечательно играл раньше на бильярде – «ну, если по-честному, просто жил с этого заработка»... Рассказ был очень длинный, запутанный, и краем уха я слышал, что оторвала его от этой игры любимая женщина-лилипутка, которая жила на Новослободской и имела постоянную прописку.

– А на кой тебе была липипутка? – лениво, с ухмылкой спрашивал Жеглов.

– Так она, собственно, была не липипутка, а такая ма-а-а-ленькая женщина и сложена была как богиня...

Я смотрел на разбитые немецкие машины, и меня не покидало удивление, что эти уродливые неповоротливые обгоревшие груды металла в аляповатой пятнистой раскраске, бессильные и отвратительные, еще полгода назад могли меня убить.

И не стало для меня больше ничего – ни этого серого, мягкого осеннего дня, которым мы шли ловить рецидивиста Копченого, ни дремлющего полуоблетевшего парка и свинцовой неподвижной воды в реке, по которой бежал белоснежный речной трамвай с голубой надписью на узкой рубке «МОЛОКОВ». А был апрельский вечер в берлинском районе Панков, где мы лежали под эстакадой городской железной дороги и в тыл к нам неожиданно прорвались «пантера» и два тупорылых бронетранспортера с эсэсовцами и огнем своим смели нас с гранитной эстакады, как метлой. Я тогда сразу понял, что они прорываются к Шенхаузераллее, там у немцев еще было мощное опорное укрепление. И если проскочат, то с ходу ударят в тыл нашей еще не развернувшейся противотанковой батарее и «пантера» передавит за минуту все орудия вместе с прислугой. Вместе с якутом Митрофаном Захаровым мы быстро поползли по обе стороны эстакады к перекрестку навстречу танку – он ведь, проклятый, уже разворачивался, готовясь нырнуть в переулок. Хлестко, с дробным грохотом ударила над нашими головами по рельсам очередь из крупнокалиберного пулемета, и я невольно припал к шпалам, а когда поднял голову, увидел, что из витрины разбитого магазинчика на углу выскочил Парахин, тихий немолодой солдат, вологодский конюх, вечно озабоченный человечек с бледным отечным лицом. И бежал он наискосок, через улицу, прямо к танку, и в руке у него не было автомата, а держал он только связку, и я сообразил, что Парахину больше автомат не понадобится – он знал это и бежал, чуть пригнувшись, клонясь вперед от страха и ожидания страшного удара, но бежал, ни на миг не задерживаясь, дерганой нервной рысцой, и была в Парахине, тщедушном и сторбленном, решимость и готовность умереть такая, что я уже не сомневался: «пантера» не налетит сзади на батарейцев, не примет стволы к лафетам, не наматает человеческое мясо на гусеницы.

С бронетранспортера заметили Парахина, и пулемет развернулся к нему злым острым рыльцем, плюнул огнем, и пули, казалось, подкинули в воздух солдата, и в последнем этом мучительном парении он бросил связку в упор в ведущее колесо гусеницы...

– ...Шарапов, пошли! Чего ты тут застрял – танка, что ли, не видел? – услышал я крик Гриши. В самом деле, танка, что ли, я не видел? И побежал догонять.

В бильярдной, несмотря на ранний час, народу было немало. От порога Жеглов внимательно осмотрел играющих и сказал мне:

– Вон там, в углу, за четвертым столом – Копченый...

Матерчатые квадратные абажуры нависали над зелеными столами, и лица были скрыты в дымном полумраке. Наклонился, примеривая кий для удара, парень, нырнул в колодец света, ударил и, выпрямившись, опять растворился в багрово-серой темноте. Я рассмотрел чистое

смуглое лицо, «политический зачес», худые руки и значок ГТО на лацкане. В светлый квадрат вплыл узбек в тюбетейке, ударил. Прилив темноты смыл и его со стола. Парень со значком ГТО фальцетом выкрикивал перед ударами:

– От двух бортов в угол!.. Чужого режу в угол направо, своего в середину!.. Клапштос!

Узбек проиграл очень быстро, заплатил и стал снова расставлять шары, но Жеглов заявил непререкаемо:

– Одну минуточку! Проигравший выбывает. Теперь моя очередь...

Парень со значком взглянул на Жеглова, усмехнулся:

– Мое почтение, гражданин начальник. Что это вы, катать начали?

– А что ж делать? Если гора не идет к Магомету...

– Никак я вам понадобился?

– Понадобился – партнера хорошего ищу...

– Так вы бы мне свистнули – я бы сам к вам пришел.

– Тебе, пожалуй, досвистишься. – Жеглов смотрел с прищуром. – С тобой как в детской считалочке: Валька – дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует...

– Спички я сроду не воровал, – серьезно сказал Копченый.

– Это я знаю, – кивнул Жеглов. – Ты ведь наверняка правила бильярдной нарушаешь: игра на деньги? А-а?

– Так это только дети на шелобаны играют, а настоящие игроки – на интерес, – засмеялся

Копченый. – По полкосой скатаем?

Жеглов брезгливо оттопырил толстую нижнюю губу:

– Это ты с Жегловым хочешь по полсотенке играть? Сморкач!

– А по сколько? – заинтересовался Копченый.

– По тысяче.

– По куску? Идет, – охотно согласился вор. Наверное, его в принципе согревала перспектива ободрать на бильярде знаменитого Жеглова – эта легенда годами передавалась бы блатными как образец уголовной доблести.

– Ты, прежде чем на тысячу примазывать, покажи мне – есть она у тебя или ты со мной в долг играть собираешься?

Копченый обиделся:

– Что же я, порядка не знаю? – И выволок из кармана пачку денег.

– Тогда ладно. Разбивай.

– Пирамиду или американку?

– Пирамиду.

Жеглов взял кусок мела, аккуратно натер набойку кия, плавными круговыми движениями намелил его и вытянул перед собой, примерил на глазок прямизну, потом повернулся к Грише и сказал:

– Иди к директору бильярдной, там есть телефон, позвони к нам в контору и скажи, чтобы Пасюк с Тараскиным ехали сюда, как только объявятся. Встретишь их у входа...

– Вы бы, гражданин Жеглов, скинули пиджачок, а то вам не с руки играть-то будет. Или вы за пушку свою опасаетесь? – вежливо спросил Копченый.

– Не учи ученого, – дипломатично отозвался Жеглов. – И о пушке моей не заботься. Давай начинай...

Копченый не ударил шаром в пирамиду, а толкнул его о борт, шар плавно откатился и еле-еле растолкал укладку. Жеглов присел, глазом прикинул линию к средней лузе и бархатым неощутимым толчком направил туда шестерку.

– С почином вас, Глеб Георгиевич, – сказал Копченый. – Мне надо было у вас фору попросить...

– А мне безразлично, просил бы ты али нет, – я по пятницам не подаю. – Жеглов снова ударил, но на этот раз довольно сильно, и бил он поперек стола с левой руки, и, вкотив крученный шар, довольно засмеялся: – Очень глубоко смири свою душу, ибо будущее человека тлен...

Я заворуженно смотрел, как свой шар, крестовик, оттянулся обратно к Жеглову, на свободную сторону стола, так, чтобы ему бить было удобнее. Но третий удар не вышел – желтый колобок шара прокатился по ослепительной зелени сукна, ткнулся в жерло лузы и вылетел обратно.

Копченый нырнул в освещенный квадрат над бильярдом и почти лег на стол, стараясь достать дальний шар – такой соблазнительно прямой перед узким устьем лузы.

– Ноги с бильярда! – скомандовал Жеглов. – Ты в валенках сюда ходи, не видно будет, что у тебя копыта над полом висят!

Копченый сполз со стола и заново стал умищаться удобнее и уже совсем было пристроился ударить, когда Жеглов негромко сказал у него над ухом:

– Ты где взял браслетик?

Вздрыгнул Копченый, рука сорвалась, кий скользнул по шару – тот мимо лузы прокатился, ткнулся о борт и замер.

– Какой браслетик?

– Что же ты киксуешь? Я тебе покиксую! Туза в угол направо! – приказал Жеглов, очень мягко вкатил шар и пояснил: – Золотой браслетик в виде ящерицы червленной с одним изумрудным глазом.

– Понятия не имею, о чем вы говорите, начальник! – ответил Копченый, светя своими голубыми доверчивыми глазами; и, встретив его здесь случайно, голову дал бы на отрез, что это не вор «жуковатый», а студент-заочник, отличник, скромный производственник и спортсмен-общественник.

– Понятия, значит, не имеешь?.. – протянул Жеглов. – Ну, тогда поедем мы сейчас к нам, и я с тобой вот так поговорю! – И он вдруг чудовищной силы ударом с треском загнал шар в середину. – Вот какой у меня с тобой сейчас разговор произойдет! – приговаривал Жеглов, скользя мягко в своих сияющих сапогах вокруг стола и нанося новый ужасный удар, от которого зазвенела и затряслась луза. – Десятку в угол! Поговорю я с тобой вот так, сердечно, вразумительно, чтобы до тебя дошел мой вопрос – до ума, до сердца, до печени, до почек и всего остального твоего гнилого ливера! Поиграешь со мной – сразу сообразишь, что это тебе не Маньку Облигацию до потери пульса лупить... Абриколь семеркой налево!

Семерка сильно ткнулась в борт, отлетев, ударилась о другой шар и юркнула в лузу. Копченый побледнел, сильнее заострилось его тонкое лицо, вспотевшей ладонью он гладил свою роскошную шевелюру.

– Гражданин Жеглов, я чего-то не пойму, про что вы толкуете...

Жеглов остановился, передохнул, сочувственно поглядел на Копченого, покачал сокрушенно головой:

– Не понимаешь?

– Честное вам благородное слово даю – не понимаю!

– Слушай, Копченый, а может быть, ты не виноват? Это, наверное, про тебя в учебнике судебной психиатрии написано: «Идиотия – самая сильная степень врожденного слабоумия»? Ты что, не того? – И покрутил пальцем у виска.

Удары у Копченого были волглые, мятые, шары катились как попало, зато перед каждым его ударом Жеглов задавал очередной вопрос, что никак не придавало Копченому собранности и меткости.

– Да ты не киксуй, твое дело хана! – зло усмехнулся Жеглов. – У меня в последнем шаре – партия...

Он подошел к Копченому, словно нечаянно наступил ему на ногу своим хромым сапогом и, близко наклонившись, сказал:

– Ты же ведь чердачник, Копченный, а не мокрушник, поэтому, пока не поздно, колись – где взял золотой браслет? И если ты надумаешь мне забивать баки, то про наш предстоящий разговор я тебе все объяснил...

Так они разговаривали негромко, наклонившись друг к другу, словно два приятеля-партнера, сделавшие перекур после трудной и неинтересной партии; и с соседнего стола игроки, кабы было у них время и желание, могли бы залюбоваться на таких дружков, которые и в перерыве шепчутся – оторваться не могут.

Они стояли на противоположной от меня стороне стола, и я не все слышал, долетали до меня только обрывки фраз. Я видел только, как Копченный прижимал к груди руки, таращил свои ясные глаза, даже рукавом слезу смахнул и для убедительности перекрестился. И слова, как брызги, вылетали из горячей каши их разговора:

– ...В карты... бура и очко... Котья Кирпич... денег не... у Модистки... не знаю его... вор в законе... Костя-щипач... век свободы не видать...

Что отвечал Жеглов, я не слышал, пока тот не повернулся ко мне и не сказал с кривой ухмылкой:

– Божится, гад, что выиграл браслет в карты у Кирпича. Что будем делать, Шарапов? Идеи есть?

– Есть, – кивнул я. – Надо Кирпича брать.

– Замечательно остроумная идея! Главное, что неожиданная! – Потом спросил Копченого: – Слушай, Бисяев, а где «работает» Кирпич?

– Он в троллейбусах щиплет – на «втором», на «четверке», на «букашке»...

Жеглов стоял в глубокой задумчивости, раскачиваясь медленно с пятки на мысок. Появился Шесть-на-девять, за ним шли Пасюк и Тараскин.

– «Фердинанд» здесь? – спросил Жеглов.

– Да, мы на нем прикатали, – ответил Пасюк.

– Это хорошо, хорошо, хорошо, – бормотал Жеглов, явно думая о чем-то другом, потом неожиданно сказал Бисяеву: – Слушай, Валентин, а ты не хочешь со мной покататься на троллейбусе?

– Зачем это еще?

– Ну, может, встретим Кирпича – познакомишь, дружбуведем, – блеснул белым оскалом Жеглов.

– Вы уж меня совсем за ссученного держите! – обиделся Копченный. – Чтобы я блатного кореша уголовке сдал – да ни в жисть!

– А ты его уже и так сдал, – радостно засмеялся Жеглов. – Эх ты, босо`та! Я ведь Кирпича не сегодня завтра прихвачу и обязательно подробно расскажу, как я тебя на испуг взял, словно сывку сопливого расколот...

Копченный горько, со слезой вздохнул:

– Эх, гражданин Жеглов, злой вы человек! Я вам рассказал по совести, можно сказать, как своему, а вы мне вот как ответили...

– Не ври, не ври! С каких это пор Жеглов уголовникам своим человеком стал? Душил я вас всю жизнь по мере сил и впредь душить буду – до полного искоренения! А рассказал ты мне, потому что знаешь: за браслетом мокрое дело висит. И я с тебя подозрения пока не снимаю, буду с тобой дальше работать, коли ты мне помочь не хочешь. Поваляйся пока на нарах, про жизнь подумай...

Копченный гордо поднял голову:

– Ничего, жизнь, она покажет... – Залез в карман, достал деньги, отсчитал тысячу рублей и протянул Жеглову. – Проигрыш получите, а в остальном сочтемся... со временем.

Копченый стоял, протягивая Жеглову деньги, а тот, подбоченясь, все перекатывался с пятки на мысок и внимательно смотрел ему в лицо, и от этого казалось, что жулик не расплатиться хочет, а словно подаяния просит.

Выждав долгую паузу, будто закрепив ею их положение, Жеглов хрипло засмеялся:

– Я вижу, ты и впрямь без ума, Копченый! Ты что же, думал, Жеглов возьмет твои поганые воровские деньги? Ну о чем мне с тобой разговаривать в таком случае? – Жеглов обернулся к Пасюку. – Иван, у него полный карман денег – оформите актом изъятия за нарушение правил игры в бильярдной. А самого окуните пока в КПЗ, я приеду – разберемся...

Когда оперативники увезли Копченого, Жеглов сказал мне:

– Глупостями мы с тобой занимаемся! Ерунда и пустая трата времени!..

– Почему?

– Потому, что нам надо искать доказательства вины Груздева, а не с этими ничтожествами возиться!

– Но ведь браслет...

– Что «браслет»? Пойми, тебе это трудно пока усвоить: щипач, карманник – это самая высокая уголовная квалификация, она оттачивается годами, и поэтому никогда в жизни ни один из них близко к мокрому делу не подойдет. Они с собой на кражи даже бритву безопасную не берут, а пользуются отточенной монетой! Поэтому заранее можно сказать: Кирпич никакого отношения к убийству Ларисы Груздевой не имеет...

– А браслет как к нему попал?

– Но откуда тебе известно, что браслет пропал не до убийства? Она могла его потерять, продать, подарить, выменять на сливочное масло, его могли у нее украсть, – может быть, тот же Кирпич!

– Тогда мы должны постараться найти его – Кирпича, значит!

– Но для удовлетворения твоего любопытства нам придется потратить черт знает сколько времени – это ведь я только Копченому так лихо пообещал найти завтра Кирпича. А кабы это было так просто, мы бы их давно уже всех переловили!

Я помолчал, подумал, потом сказал медленно:

– Знаешь, Глеб, тебе пока от меня толку все равно на грош. Если ты не возражаешь, я сам попробую найти Кирпича...

Жеглов разозлился:

– Слушай, Шарапов, вот чего я не люблю, просто терпеть не могу в людях, так это упрямства. Упрямство – первый признак тупости! А человек на нашей работе должен быть гибок, он должен уметь применяться к обстоятельствам, событиям, людям! Ведь мы же не гайки на станке точим, а с людьми работаем, а упрямство в работе с людьми – последнее дело...

– Это не упрямство, – сказал я, стараясь изо всех сил не показать, что обиделся. – Но ты вот сам говоришь, что мы с людьми работаем, и я считаю, что нельзя человека лишать последнего шанса...

– Это какого же человека мы лишаем последнего шанса?

– Груздева.

– А ты что, не веришь, что это он убил жену? – удивился Жеглов.

– Не знаю я, как ответить. Вроде бы он, кроме него некому. Но этот браслетик – его шанс на справедливость.

– Как прикажешь понимать тебя?

– А так: если он убил жену и унес из дома все ценности, то он не побежит на другое утро продавать браслет. Лично мне этот Груздев – неприятный человек, но он же не уголовник, не Копченый и не Кирпич, чтобы назавтра пропить и прогулять награбленное. Тут что-то не клеится у нас. Поэтому я и хочу разыскать этого карманника и узнать, как попал к нему браслет.

– Я бы мог привести сто возражений на твои слова, но допустим, что ты прав. И вот ты нашел Кирпича – дальше что?

– Допрошу его – откуда взял браслет?

– И если он тебе скажет, то прекрасно. А если он облокотится на тебя? И пошлет подальше?

– Как это?! – возмутился я. – А показания Валентина Бисяева?

– А Валентину Бисяеву Кирпич просто плюнет в рожу и скажет, что впервые видит его. Дальше что?

– Дальше? – задумался я.

Дальше действительно ничего не получалось, но, как говорится, печенкой я ощущал, что и после этого тупика должен существовать какой-то следующий ход, приближающий меня к правде, но догадаться сам я не мог, потому что знание этого хода зависело не от моей сообразительности или находчивости, а определялось точными законами игры, мне еще неизвестными и называемыми оперативным мастерством.

И еще я понимал, что Жеглов должен знать такой ход, я был просто уверен в этом. Но Жеглов не считал его целесообразным, делать не хотел, и мне оставалось поблагодарить его за то, что он не запрещал мне самому подумать над ним.

Так мы и разъехались по своим делам, недовольные друг другом, и на прощание я лишь спросил:

– Глеб, а кто занимается в МУРе карманниками?

Жеглов засмеялся:

– О, это могучая фигура – майор Мурашко! Зайди к нему, посоветуйся, – может, что дельное тебе скажет...

Майор Кондрат Филимонович Мурашко выслушал меня с сочувствием и пониманием. Но конкретной помощи не обещал.

– Мы с реальными делами не управляемся, где уж нам Кирпича искать по хлипкому подзору, – разводил он маленькими сухонькими руками. И весь он был седенький, чистенький, невзрачный, в тщательно заштопанной сатиновой рубашке с белесыми пятнами на локтях. – И работа у нас стала сильно бестолковая...

– Это почему же?

– Да как вам объяснить, молодой человек, вы же у нас в МУРе личность новая, старые дела вам неизвестны...

– А вы расскажите – станут известны! – плотнее уселся я на стуле.

– Вот работаю я на этом месте двадцать два года – на моих глазах, считайте, все этапы борьбы с преступностью проходили. Так что перед войной мы с полным основанием говорили, что организованная преступность у нас совершенно разгромлена. Дотла вывели шнифферов, ликвидировали сонников, клюквенников следа не осталось...

– Что такое клюквенники?

– А это воришки, которые церкви грабили. Ух, лютые ребята были!.. Значит, в основном покончили с прихватчиками. А вот с моей публикой, со щипачами, – никак; тут штука тонкая, настоящий щипач – всегда воровской аристократ, специалист высшей квалификации...

– Забавно, – покачал я головой. – Я раньше думал, что карманники – это самые ничтожные воришки, низший сорт...

– Ошибочка! – Кондрат Филимонович вздернул острый птичий носик. – Вот подумайте сами, какая должна быть отточенная техника, ловкость пальцев, точность движений и нервная выдержка, – какая! – глазом дабы не моргнуть и у нормального человека, который не спит, не пьяный, не под наркозом, вытащить все из карманов! А он при этом – ни сном ни духом.

– А почему же вы говорите, что работа сейчас стала бестолковая?

– Потому что совесть меня ест. Война, голод, безотцовщина, сиротство горькое – подались в карманники люди, которым подчас просто есть охота. Вот они-то главным образом и попадают к нам, и так их много, что делами руки завалены – настоящих щипачей ловить нет времени...

– Как же это так получается?

– Так и получается – людей у меня совсем мало, и тех-то уголовщина в лицо наперечет знает...

– Так это же хорошо?! – удивился я. – Хорошо, что в лицо знают?

– Чего ж хорошего? Вот патрулирует свою зону сотрудник в троллейбусе, заскочил туда щипач. Он первую остановку вообще ничего не делает, а только осматривается. Пригляделся, увидел нашего сотрудника, раскланивается с ним чинно – здрасте, Петр Иванович, – и на следующей остановке выскочил...

– И вы их отпускаете?

– А что прикажете делать? Иногда задерживаем на полдня, беседу проводим – он несколько дней после такой встречи таится. А потом снова вылезает на охоту.

– А у вас есть фотография Кирпича?

– Конечно. Это Константин Сапрыкин, двадцатого года рождения, трижды судим, пять месяцев назад за паразитический образ жизни и отсутствие определенных занятий выслан из Москвы за сто первый километр, но, по имеющимся у меня данным, он регулярно обитает в городе...

– Кондрат Филимонович, а почему у него такое прозвище?

Майор Мурашко пожал плечами:

– Трудно сказать. Может быть, потому, что у него голова такая – прямоугольная. Длинная, брусом... – Он перелистал толстый альбом, потом на несколько страниц вернулся назад. – Вот он, полюбуйте на красавца...

По фотографии было не видать, что у Сапрыкина голова брусом: просто длинное лошадиное лицо с тяжелой челюстью, маленькими глазами, полностью смазанными с лица тяжелыми скулами и нависающими бровями. Курносый нос с распыленными ноздрями...

Напоследок Мурашко пообещал:

– Я своим ребятам скажу. Коли попадется кому Кирпич, к вам доставим...

Когда я вернулся в отдел, Жеглов встретил меня весело:

– Ну, как успехи, сыскной орел?

– Да успехов пока никаких. Я с Мурашко разговаривал...

– И что тебе рассказал наш Акакий Акакиевич? – засмеялся Жеглов, и, видимо, ему самому понравилась эта шутка, потому что он повторил: – Майор милиции Акакий Акакиевич...

А мне шутка не понравилась, и я сказал, глядя в сторону:

– Мне он не показался Акакием Акакиевичем. Он человек порядочный. И за дело болеет. По-моему, он хороший человек...

И совершенно неожиданно вдруг подал голос Пасюк:

– Я с Акакием Акакиевичем не знался, но Мурашко свое дело добре робить. Я знаю, шо его щипачи як биса боятся, хочь он и есть такой чоловік малэнький. Это ты, Глеб Георгиевич, с него зря смеешься...

– Если он так замечательно робит, что же ты к нему не пойдешь в бригаду? – спросил Жеглов, поглядев на Пасюка искоса.

– Бо у мене пальцы товстые! – протянул к нам свою огромную ладонь Пасюк. – Мне шо самому в щипачи, шо ловить их – невозможно, бо я ловкости не маю.

Мы с Жегловым расхохотались.

– А у тебя какие пальцы? – спросил Жеглов.

– Щипать не смогу, а вот насчет поймать – есть идея, – сказал я, улыбаясь.

– Давай обсудим, – кивнул Жеглов.

– Я Сапрыкина хорошо запомнил по фотоснимку. Мне надо поехать на его маршрутах и постараться поймать за руку во время карманной кражи – тогда нам легче будет заставить его разговаривать по части браслета Груздевой...

Жеглов задумчиво смотрел на меня, лицо его было спокойно и строго, и ничего я не мог по нему определить: нравится ли ему мой план, или считает он его полнейшей ерундой и глупистикой, или, может быть, планчик ничего, его надо только додумать до конца? Ничего нельзя было прочитать на лице Жеглова во время бесконечной паузы, к концу которой я уже начал ерзать на стуле, пока вдруг не перехватил взгляд подмигивающего мне одобрительно Пасюка, и понял я этот взгляд так, что надо сильнее напирать на Жеглова. Но Жеглов сам разверз уста и сказал коротко, негромко, четко:

– Молодец, догадался...

И не больно уж какая великая была эта догадка, не решала она никаких серьезных проблем, да и неизвестно, как еще удастся ее реализовать, но я вдруг испытал чувство большой победы, ощущение своей нужности в этом сложном деле и полезности в свершении громадной церемонии правосудия – и это чувство затопило меня полностью.

Жеглов, будто угадав, о чем я думаю, сказал:

– Завтрашний день я выделяю тебе – покатаемся на гортранспорте вместе. Глядишь, чем-нибудь смогу и пригодиться...

И я совершенно искренне, от всей души, ответил:

– Спасибо тебе, Глеб. Я просто уверен, что с тобой мы его поймаем!

Жеглов встал, церемонно поклонился:

– Благодарю за доверие. Значит, считаешь, что и я чего-то умею?

Может быть, показалось это мне, а может, было и на самом деле, но послышалась мне в голосе Жеглова досада. Или раздражение...

В Москве минувшей ночью минимальная температура была –2 градуса.

Сегодня в два часа дня +6. Завтра в Москве, по сведениям Центрального института прогнозов, ожидается облачная погода без существенных осадков.

Температура ночью –3–5, днем +5 – +8 градусов.

Сводка погоды

Утром, перед тем как отправляться в долгое путешествие на троллейбусах, Жеглов еще раз вызвал из камеры Бисяева. Вид у того был помятый, невыспавшийся и голодный.

– Ну что, не нравится житуха у нас? – спросил Жеглов.

– А чего же тут у вас может нравиться? – ощерился Бисяев трусливо и зло. – Не санаторий для малокровных...

– Но, скажу тебе по чести, ты мне здесь нравишься...

– Да-а? – неуверенно вякнул Бисяев.

– Очень ты мне тут нравишься. Смотрю я на твои руки и диву даюсь!

– И что же вы в руках моих нашли такого интересного? – спросил Бисяев, бессознательно пряча ладони в карманы.

– Не профессор ты, не писатель, не врач, одним словом – мурло неграмотное. А ручки у тебя нежные, белые, гладкие, пальчики холеные, ладошки без морщин, и ни одной жилочки не надуту. А почему? – (Бисяев промолчал.) – Молчишь? А я тебе скажу – ты сроду своими руками ничего путного не делал. Вот прожил ты почти три десятка лет на земле и все время чего-то жрал, крепко пил, сладко спал, а целый народ в это время на тебя горбил, кормил тебя,

обувал и ублажал. И воевал, пока ты со своей грыжей липовой в тылу гужевался. От этого ручки у тебя гладкие, не намозоленные, трудом не натертые, силой мужской не налитые...

– Воспитываете? – тряхнул шелковистой шевелюрой Бисяев. – Так это зря – поздно.

– Поздно?! – удивился Жеглов. – Как это поздно? Уж на этот раз я постараюсь изо всех сил, чтобы дали тебе в руки кайло, лопату или топор-колун с пилой. Пора тебе на лесоповал ехать или канал какой-нибудь строить. Ты здесь, в шумном городе, зажился сильно...

– У вас, кстати, гражданин Жеглов, руки тоже не шахтерские! – криво улыбаясь, выкрикнул Бисяев и сам испугался.

Жеглов вылез из-за стола, подошел к нему вплотную и, снова раскачиваясь с пятки на мысок, сказал, глядя ему прямо в глаза:

– Это ты правду сказал, Копченый. А вся правда состоит в том, что я, сильный и умный молодой мужик, трачу свою жизнь на то, чтобы освободить наш народ от таких смрадных гадов, как ты! И хотя у меня руки не в мозолях, но коли я за год десяток твоих дружков перехватаю, то уже людям больше своей зарплаты сэкономил. А я, по счастью, за год вас много больше ловлю. Вот такой тебе будет мой ответ, и помни, Копченый: ты меня теперь рассердил всерьез!

– А что, а что, уже и пошутить нельзя? – завертелся Бисяев. – Ну чего в шутейном разговоре не скажешь? Вы пошутили, я тоже посмеялся – а вы к сердцу принимать...

– Я с тобой не шутил, – отрезал Жеглов. – Ты мне ответь лучше – думал ты над моими вопросами о Константине Сапрыкине?

– А кто это? – совершенно искренне удивился Бисяев.

– Константин Сапрыкин – это твой дружок, по кличке Кирпич.

– Да? А я и не знал, что он Сапрыкин. И не дружок он мне – так, знакомец просто; знаю, что зовут его все Кирпичом...

– Ну и народ же вы странный, шпана! – покачал головой Жеглов. – Вы как собаки-жу'чки: ни имени, ни роду, а только какие-то поганые клички. Так что можешь сказать про Кирпича? Про Сапрыкина то есть?

– Ей-богу, не знаю я. Он где-то в Ащеуловом переулке живет, там у него хаза...

Больше ничего толкового мы от Бисяева не добились и отправились в город.

– Ну что, Шарапов, есть у нас три троллейбусных маршрута. Какой выберем? Или в орла-решку сгадаем?

Я обстоятельно подумал, потом предложил:

– Давай поедем на «девятке» по Сретенке. Поездим часа два, пересядем на «букашку».

– Почему?

– Кирпич в Ащеуловом переулке живет, – значит, ему ближе всего со Сретенки начинать свою охоту. Или доедет до Колхозной площади и оттуда подастся на Садовое кольцо.

– Не-ет. У своего дома он воровать не будет. А вот от Колхозной – пожалуй. Поехали...

Мы проезжали на троллейбусе одну остановку, внимательно вглядывались в пассажиров, на следующей сходили и пересаживались в очередную машину. Первый час это занятие было мне даже любопытно, на втором я почувствовал, что стал уставать, через три у меня уже все гудело в голове от шума троллейбусов, толкотни пассажиров, запаха горелой резины и завывающего гула мотора, треска переключаемого педалью реостата, непрерывного мелькания тысяч лиц, в которые надо было внимательно вглядываться – в каждое в отдельности. И четвертый час, и пятый крутили мы километры по Москве. Скользили за окнами улицы, отчаянно фанфарили легковушки, стало смеркаться, подтекал неспешный осенний вечер, снова заморосил дождь, а конца и краю этой бесконечной езде в никуда не было видно.

У меня кружилась голова, и смертельно хотелось есть, но, глядя на невозмутимое лицо Жеглова, которого, казалось, ничуть не утомил сегодняшний день, я стеснялся попросить отбоя.

А Жеглов методично переходил из троллейбуса в троллейбус, и мне даже стало казаться, что это решил он так проучить меня за то, что сунулся поперед батьки в пекло.

Жеглов только усмехался:

– Радуйся, что у нас проездные билеты литер «Б», а то бы весь твой оклад содержания сегодня ухнул...

В половине седьмого мы вошли в троллейбус «10» на Смоленской площади, и я сильно толкнул в бок Жеглова – в проходе стоял высокий крепкий парень с безглазым лицом и лошадиной челюстью. Он держался рукой за поручень и дремал, сжимаемый со всех сторон пассажирами.

– Гражданин, передайте за проезд, – громко сказал Жеглов, протягивая мне монету и беззвучно шепнул: – Дурило, ты меня от счастья чуть из троллейбуса не выкинул. Пробирайся вперед и встань к нему спиной в трех шагах...

– А как же...

– Никак! Выполняй!..

Я стал продираться через плотно забитый проход и, когда обогнул в толкучке Сапрыкина, понял, кого он пасет: рядом стояла полная, хорошо одетая женщина с большой кожаной сумкой. Булькала, глухо гомонила, перекачиваясь в троллейбусном чреве, людская каша, пассажиры сопели, толкались, передавали по цепочке деньги и возвращали назад билеты со сдачей, яростно вспыхнул и так же мгновенно погас скандал из-за чьей-то отдавленной ноги, от кого-то нестерпимо разило чесноком, жаркое слитое дыхание полусотни людей оседало густой пузырячатой испариной на стеклах, загорелся неяркий салонный свет, человек в пенсне и с портфелем, удобно облокотившись на мою спину, читал «Вечерку», кондукторша монотонно выкрикивала:

– Следующая остановка – Новинский!.. Следующая – площадь Восстания!.. Следующая – Спиридоньевский переулок!..

Я помирал от любопытства, мне не терпелось узнать, что там происходит, сзади, за моей спиной. Но я уже усвоил понятие оперативной целесообразности, и коли Жеглов поставил меня впереди Кирпича и спиной к нему, значит так надо и моя святая обязанность – неуклонно выполнять распоряжение.

Непонятно было, чего ждет Кирпич, но то, что он стоял на месте, рядом с женщиной в коричневом пальто, убеждало меня в правильности догадки.

– Следующая – Маяковская... Следующая – Лихов переулок...

И тут неожиданно раздался голос Жеглова, тонкий, звенящий от напряжения:

– Ну-ка стой! Стой, я тебе говорю! Гражданка, взгляните на свою сумку!

Я мгновенно развернулся и принял вырывающегося из цепких жегловских рук Кирпича, тряхнул его за плечи и заорал, будто мы в казаки-разбойники играли:

– Не дергайся, ты взят!

И Кирпич сразу послушался меня, перестал рваться и сказал громко, удивленно и растерянно:

– Граждане!.. Товарищи!.. Помогите!.. Посмотрите, что эти два бандита среди бела дня с человеком вытворяют!..

На мгновение в троллейбусе воцарилась глухая тишина, только бубнили с гудом и шелестом о мостовую колеса, а в следующий миг тишина эта раскололась невероятным гамом и криками. Пассажиры впереди и сзади вообще ничего не видели и, карабкаясь по спинам остальных, гомонили безостановочно:

– Что там?..

– Кто?..

– Вора поймали!

– Где?

- Грабят двое!
- Кого?
- И женщина с ними – вон какая приличная с виду!
- Да нет, это вор вон тот, лохматый!..
- Держите!..
- Пусть остановят машину!..
- Кто свидетели?
- Ножом пырнули...

А Кирпич, набирая высоту, заорал гугниво и протяжно:

– Посмотрите, товарищи, как фронтовику руки крутят! Когда я кровь проливал под Берлином, где вы, гады тыловые, отсиживались? Держите их – они преступники!..

Я видел, как он в сердцах бросил монету на пол, она ударилась в мою ногу и исчезла где-то внизу, на деревянном реечном полу машины.

Тут очнувшись наконец от оцепенения женщина. Она подняла над головой свою тяжелую сумку и пронзительно кричала:

– Смотрите, порезал, а потом кошелек со всеми карточками вынул! Тут у меня на всю семью карточки были! Да что же это?..

Вор, припадочно бившийся у меня в руках, кричал ей:

– Гражданочка, дорогая! Это ведь они у вас слямзили кошелек и на меня спихивают, внимание отвлекают! Вы посмотрите вокруг себя, они, наверное, кошелек ваш сбросили! Их обыскать надо!..

Троллейбус распирало от страстей и криков, как перекачанный воздушный шар. Один Жеглов невозмутимо улыбался. И я неожиданно вспомнил майора Мурашко и подумал, что он не Акакий Акакиевич, это точно! Работенка у них – хуже некуда, с бандитами и то, наверное, приятнее иметь дело.

Пассажиры, как по команде, уплотнились, раздался маленький круг вокруг потерпевшей, она огляделась, и вдруг какой-то мальчишка крикнул:

– Тетя, вон кошелек на полу валяется...

Кошелек, который Кирпич даже не успел расстегнуть, но зато управился сбросить, валялся на полу. От досады Жеглов закусил губу – все дело срывалось; и закричал он громко и властно:

– Тихо, товарищи! Мы работники МУРа, задержали на ваших глазах рецидивиста-карманника. Прошу расступиться и дать нам вывести его из троллейбуса. Свидетелей и потерпевшую гражданку просим пройти в семнадцатое отделение милиции – это тут рядом, в Колобовском переулке...

Повернулся к Кирпичу и сквозь зубы сказал:

– Подними кошелек, Сапрыкин. Подними, или ты пожалеешь по-настоящему!

Кирпич засмеялся мне прямо в лицо, подмигнул и тихо сказал:

– Приятель-то у тебя дурачок! Чтобы я сам себе с пола срок поднял! – И снова блажно заголосил: – Товарищи, вы на их провокации не поддавайтесь!.. Они вам говорят, что я вытащил кошелек, а ведь сама гражданочка в это не верит!.. Не видел же этого никто!.. Им самое главное – галочку в плане поставить, человека в тюрьму посадить!.. Да и чем мне было сумку резать – хоть обыщите меня, ничего у меня нет такого, врут они все!..

И только сейчас мне пришло в голову, что монета, которую бросил на пол Кирпич, это «писка» – пятак, заостренный с одной стороны, как бритва. Положение вдобавок осложнялось тем, что никто из пассажиров действительно не видел, да и не мог видеть, как вор вспорол сумку, – на то он и настоящий щипач.

Я стал судорожно оглядываться на полу вокруг себя в поисках монеты, попросил соседей, мальчишка ползал по проходу и под сиденьями – «писки» нигде не было. И когда наконец мы

вывалились из троллейбуса на Лиховом переулке, то сопровождала нас только обворованная женщина.

Жеглов нес в руке кошелек-ридикюль, а я держал Кирпича за рукав. Вор, не скрывая радости, издевался:

– Нет-нет, начальнички, не выгорит это делишко у вас, никак не выгорит. Вы для суда никакие не свидетели, баба хипеж подняла, уже когда вы меня пригребли, кошель у вас на лапе, «писку» в жизни вы у меня не найдете – так что делишко ваше табак. Вам еще начальство холку намылит за такую топорную работу. Нет, не придумали вы еще методов против Коти Сапрыкина...

Жеглов мрачно молчал всю дорогу и, когда уже показалось отделение милиции, сказал ему тусклым невыразительным голосом:

– Есть против тебя, Кирпич, методы. Есть, ты зря волнуешься...

У забухшей от сырости тяжелой двери отделения Жеглов остановился, пропустил вперед Сапрыкина:

– Открывай, у нищих слуг нет...

Сапрыкин дернул дверь, она не поддавалась, тогда он уцепился за нее обеими руками и с усилием потянул на себя.

В этот момент Жеглов бросился на него.

Пока обе руки Сапрыкина были заняты, Жеглов перехватил его поперек корпуса и одним махом засунул ему за пазуху ридикюль и, держа его в объятиях, как сыромятной ушивкой, крикнул сдавленно:

– Шарапов, дверь!..

Я мгновенно распахнул дверь, и Жеглов потащил бешено бьющегося у него в руках, визжащего и воющего Сапрыкина по коридору прямо в дежурную часть. Оттуда уже бежали навстречу милиционеры, а Жеглов кричал им:

– Пока я держу его, доставьте сюда понятых! Мигом! У него краденый ридикюль за пазухой! Быстрее...

Четверо посторонних людей, не считая дежурных милиционеров, видели, как у Кирпича достали из-за пазухи ридикюль, и, конечно, никто не поверил его диким воплям о том, что мильтон проклятый, опер-сволочуга засунул ему кошелек под пальто перед самыми дверями милиции. Онемевшая от всего случившегося женщина-потерпевшая ничего вразумительного выговорить не сумела, только подтвердила, что кошелек действительно ее.

– Значитца, срок ты уже имеешь, – заверил Кирпича улыбающийся Жеглов. – А ты еще, простофиля, посмеивался надо мной. Знаешь поговорочку – не буди лихо, пока оно тихо. Теперь будет второе отделение концерта по заявкам граждан... – Он набрал номер. – Майор Мурашко? Кондрат Филимоныч, приветствует тебя Жеглов. Мы тут с Шараповым подсобили тебе маленько. Ну да, Кирпича взяли. А как же! Конечно, с поличным! Я вот что звоню – у тебя же наверняка висит за ним тьма всяких подвигов, ты подошли своего человека в семнадцатое, мы тут отдыхаем все вместе, пусть с ним от души разберутся. Да вы навесьте ему все, что есть у вас: жалко, что ли, пусть ему в суде врежут на всю катушку! Чего с ним чикаться! Привет...

Сапрыкин, сбывчившись, смотрел в стену, полностью обратившись в слух, и не видел того, что заметил я: Жеглов набрал только пять цифр! Он ни с кем не разговаривал, он говорил в немую трубку!

– Ну как, Сапрыкин, придумали мы для тебя методы? – спросил Жеглов, положив на рычаг трубку.

– Вижу я, что придумывать ты мастак! – сказал сквозь зубы Сапрыкин, весь звеня от ненависти.

– Ты зубами-то не скрипи на меня, – спокойно ответил Жеглов. – Хоть до корней их сотри, мне на твое скрипение тьфу – и растереть! Ты в моих руках сейчас как саман: захочу – так оставлю, захочу – стенку тобой оштукатурю!

– С тебя станется...

– Правильно понимаешь. Поэтому предлагаю тебе серьезный разговор: или ты прешь по-прежнему, как бык на ворота, и тогда майор Мурашко с тобой разберется до отказа...

– Кондрат Филимоныч таких паскудных штук сроду не проделывал, – сказал Кирпич.

– Это точно. Поэтому он шантрапу вроде тебя ловит, а я – убийц и бандитов. Но дело свое он знает и полный срок тебе наматывает, особенно когда ты сидишь с поличником в этой камере. Усвоил?

– Допустим.

– Тут и допускать нечего – все понятно. А есть второй вариант...

– Это какой же вариант? – опасливо спросил Сапрыкин, ожидая от Жеглова в любой момент подвоха.

– Ты мне рассказываешь про одну вещичку – как, когда, при каких обстоятельствах и где она попала к тебе, – и я сам, без Мурашко, оформляю твое дело, получаешь за свою кражонку два года и летишь в «дом родной» белым лебедем. Понял? – внушительно спросил Жеглов.

– Понял. А про какую вещичку? – недоверчиво вперился в него Сапрыкин.

– Вот про эту, – достал Жеглов из кармана золотой браслет в виде ящерицы.

Сапрыкин посмотрел, поднял взгляд на Жеглова, покачал головой:

– Ну скажу я. А откуда мне знать, что ты меня снова не нажаришь?

– Что же мне, креститься, что ли? Я ведь в Бога не верю, на мне креста нет. По-блатному могу забожиться, хотя для меня эта клятва силы не имеет...

– А можешь?

– Ха! – Жеглов положил одну руку на сердце, другую на лоб и скороговоркой произнес:

Гадом буду по-тамбовски,
Сукой стану по-ростовски,
С харей битою по-псковски.
Век свободки не видать!..

И белозубо, обворожительно засмеялся, и Сапрыкин улыбнулся, и никому бы и в голову не могло прийти, загляни он сюда случайно, что полчаса назад один из них волок другого, визжащего и отбивающегося, прямо в тюрьму!

– Так верить можно? Не нажаришь? – снова спросил Кирпич.

– Ну, слушай, ты меня просто обижаешь! – развел руками Жеглов. – Я никогда не вру. А что касается кошелька, то мы-то с тобой знаем, что это ты его увел, а я просто обошел некоторые лишние процессуальные формальности. Ты из-за этого мне должен доверять еще больше...

– Ну, значит, так: браслет этот чистый, его Копченый не воровал. Он его у меня в карты выиграл. В полкуса я его на кон поставил...

– А ты его где взял?

– Тоже в картинки – несколько дней назад у Верки Модистки банчишко метнули. Вот я его у Фокса и выиграл...

– А что, у Фокса денег, что ли, не было? – спросил Жеглов невозмутимо, и я обрадовался: по тону Жеглова было ясно, что Фокса этого самого он хорошо знает.

– Да что ты, у него денег всегда полон карман! Он зажиточный...

– Зачем же на браслет играл?

– Не знаю, как у вас в уголовке, а у нас в законе за лишние вопросы язык могут отрезать.

– А сам как думаешь?

– Чего там думать, зажуковали где-то браслет, – пожал плечами Сапрыкин, и его длинное лицо с махонькими щелями-глазками было неподвижно, как кусок сырой глины.

– Ну а тебе-то для чего ворованный браслет?

Сапрыкин пошевелил тяжелыми губами, дрогнул мохнатой бровью:

– Так, между прочим, я его не купил – выиграл. И тоже не собирался держать. Думал толкнуть, да не пофартило, я его и спустил дурачку Копченому. А он что, загремел уже?

Жеглов пропустил его вопрос мимо ушей, спросил невзначай:

– Фокс у Верки по-прежнему ошивается?

– Не знаю, не думаю. Чего ему там делать! Сдал товар и отвалил!

– Ну уж! Верка разве сейчас берет? – удивился Жеглов.

Я взглянул на него и ощутил тонкий холодок под ложечкой: по лихорадочному блеску его глаз, пружинистой стянутости догадался наконец, что Жеглов понятия не имеет ни о какой Верке, ни о каком Фоксе и бредет сейчас впотьмах, на ощупь, тихонько выставляя впереди ладошки своих осторожных вопросов.

– А чего ей не брать! Не от себя же она – для марвихеров старается, за долю малую. Ей ведь двух пацанят кормить чем-то надо...

– Так-то оно так, – облегченно вздохнул Жеглов. – Скупщики краденого подкинут ей на житышко, она и довольна – процент за хранение ей полагается. Да бог с ней, несчастная она баба!

И я от души удивился, как искренне, горько, сердобольно пожалел Жеглов неведомую ему содержательницу хазы.

– Так ты что, больше Фокса не видел? – спросил Жеглов.

– Откуда? Мы с ним дошли до дома, где он у бабы живет, и я отвалил.

– Скажи-ка, Сапрыкин, ты как думаешь – Фокс в законе или он приклатненный? – спросил Жеглов так, будто после десяти встреч с Фоксом вопрос этот для себя решить не смог и вот теперь надумал посоветоваться с таким опытным человеком, как Кирпич.

– Даже не знаю, как тебе сказать. По замашкам он вроде фраер, но он не фраер, это я точно знаю. Ему человека подколооть – как тебе высморкаться. Нет, он у нас в авторитете, – покачал длинной квадратной головой Сапрыкин.

– А не мог Фокс окраску сменить? – задумчиво предположил Жеглов.

– Да у нас, по-моему, никто и не знает, чем он занимается. Сроду я не упомяну такого разговора. Он на хазах почти не бывает – в одиночку, как хороший матерый волчище, работает. Появится иногда, товар сбросит – только его и видели...

Жеглов встал, прошелся по тесной комнатке, потянулся.

– Эх, чего-то утомился я сегодня! – Он снял трубку и набрал номер. – Кондрат Филимонович? Жеглов снова беспокоит. Я вызов пока отменяю, мы тут сами с Сапрыкиным разобрались. Нет, он себя прилично ведет. Ну и мы соответствуем. Привет...

Жеглов брякнул трубку и сказал Кирпичу:

– Жеглов – хозяин своего слова. Все будет, как мы договорились. Лады?

– Лады! – довольно кивнул Кирпич.

– Вот только я сейчас возьму здесь машину, и мы на минутку подскочим, ты мне покажешь дом, где остался Фокс в прошлый раз...

– погоди, погоди! Мы об этом не договаривались, – задыбился Кирпич, но Жеглов уже натянул плащ и совал ему в руки шапку.

– Давай, давай! Запомни мой совет – никогда не останавливайся на полдороге. Поехали, поехали, я ведь и сам знаю, куда ехать, но с тобой оно быстрее будет.

И, приговаривая все это, Жеглов теснил его к двери, мягко и неостановимо подталкивал перед собой, и все время ручейком лилась его успокаивающе-усыпляющая речь, парали-

зую волю Кирпича, который сейчас медленно пытался сообразить, не наговорил ли он чего-нибудь лишнего, но времени на эти размышления Жеглов ему не давал, и, прежде чем вор смог принять какое-то решение, они уже сидели в милицейской «эмке» и призывно-ожидательно рокотал заведенный мотор, и тогда Сапрыкин махнул рукой:

– Поехали на Божедомку. Дом семь...

Они осмотрели быстро маленький двухэтажный дом, вернулись назад, уже в МУР, на Петровку, 38, и там Жеглов так же стремительно выколотил из Кирпича адрес Верки Модистки...

Без четверти девять Жеглов отправил Сапрыкина с конвоем и велел опергруппе загружаться в «фердинанд».

– Поедем в Марьину Рощу, к Верке Модистке, – сказал он громко, и никому в голову даже не пришло возразить, что время позднее, что сегодня суббота, что все устали за неделю, как ломовые лошади, что всем хочется поесть и вытянуться на постели в блаженном бесчувствии часиков на восемь-девять. Или хотя бы на семь.

Все расселись по своим привычным местам на скользких холодных скамейках автобуса, Жеглов с подножки осмотрел группу, как всегда проверяя, все ли в сборе, махнул рукой Копырину, тот щелкнул своим никелированным рычагом-костылем, и «фердинанд» с громом и скрежетом покатился.

Жеглов сел рядом со мной на скамейку, и было непонятно, дремлет он или о чем-то своим раздумывает.

Шесть-на-девять устроился с Пасюком и рассказывал ему, что точно знает: изобретатели открыли прибор, который выглядит вроде обычного радиоприемника, но в него вмонтирован экран – ма-а-ленький, вроде блюдца, но на этом экране можно увидеть передаваемое из «Урана» кино. Или концерт идет в Колонном зале, а на блюдце все видно. И даже, может быть, слышно.

Пасюк мотал от удовольствия головой, приговаривал:

– От бисова дытына! Ну и брешет! Як не слово – брехня! Ой, Хгрышка!.. – И снова повторял с восторгом: – Ой брехун Хгрышка! Колы чемпионат такой зрбят, так будешь ты брехун на всинький свит!

Шесть-на-девять кипятился, доказывая ему, что все рассказанное – правда, а он сам, Пасюк то есть, невежественный человек, не способный понять технический прогресс.

Жеглов спросил меня медленно, как будто между прочим:

– Ты чего молчишь? Устал? Или чем недоволен?

Я поерзал, ответил уклончиво:

– Да как тебе сказать... Сам не знаю...

– А ты спроси себя – и узнаешь!

Я помолчал мгновение, собрался с духом и тяжело, будто языком камни ворочал, сказал:

– Недоволен я... Не к лицу нам... Как ты с Кирпичом...

– Что-о? – безмерно удивился Жеглов. – Что ты сказал?

– Я сказал... – окрепшим голосом произнес я, перешагнув первую, самую невыносимую ступень выдачи неприятной правды в глаза. – Я сказал, что мы, работники МУРа, не можем действовать шельмовскими методами!

Жеглов так удивился, что даже не осерчал. Он озадаченно спросил:

– Ты что, белены объелся? О чем ты говоришь?

– Я говорю про кошелек, который ты засунул Кирпичу за пазуху.

– А-а-а! – протянул Жеглов, и когда он заговорил, то удивился я, потому что в один миг горло Жеглова превратилось в изложницу, изливающую не слова, а искрящуюся от накала сталь: – Ты верно заметил, особенно если учесть твое право говорить от имени всех работников МУРа. Это ведь ты вместе с нами, работниками МУРа, вынимал из петли мать троих

детей, которая повесилась оттого, что такой вот Кирпич украл все карточки и деньги. Это ты на обысках находил у них миллионы, когда весь народ надрывался для фронта. Это тебе они в спину стреляли по ночам на улицах! Это через тебя они вогнали нож прямо в сердце Векшину!

Ну и я уже налился свинцово-тяжелой злой кровью:

– Я, между прочим, в это время не на продуктовой базе подьедался, а четыре года по окопам на передовой просидел, да по минным полям, да через проволочные заграждения!.. И стреляли в меня, и ножи совали – не хуже, чем в тебя! И может, оперативной смекалки я начисто не имею, но хорошо знаю – у нас на фронте этому быстро учились, – что такое честь офицера!

Ребята на задних скамейках притихли и прислушивались к нашему напряженному разговору. Жеглов вскочил и, балансируя на ходу в трясущемся и качающемся автобусе, резко наклонился ко мне:

– А чем же это я, по-твоему, честь офицерскую замарал? Ты скажи ребятам – у меня от них секретов нет!

– Ты не имел права совать ему кошелек за пазуху!

– Так ведь не поздно, давай вернемся в семнадцатое, сделаем оба заявление, что кошелек он никакого не резал из сумки, а взял я его с пола и засунул ему за пазуху! Извинимся, вернее, я один извинюсь перед милым парнем Костей Сапрыкиным, и отпустим его!

– Да о чем речь – кошелек он украл! Я разве спорю? Но мы не можем унижаться до вранья – пускай оно формальное и, по существу, ничего не меняет!

– Меняет! – заорал Жеглов. – Меняет! Потому что без моего вранья ворюга и рецидивист Кирпич сейчас сидел бы не в камере, а мы дрыхли бы по своим квартирам! Я наврал! Я наврал! Я засунул ему за пазуху кошелек! Но я для кого это делаю? Для себя? Для брата? Для свата? Я для всего народа, я для справедливости человеческой работаю! Попускать вору – наполовину соучаствовать ему! И раз Кирпич вор – ему место в тюрьме, а каким способом я его туда загоню, людям безразлично! Им важно только, чтобы вор был в тюрьме, вот что их интересует. И если хочешь, давай остановим «фердинанд», выйдем и спросим у ста прохожих: что им симпатичнее – твоя правда или мое вранье? И тогда ты узнаешь, прав я был или нет...

Глядя в сторону, я сказал:

– А ты как думаешь, суд – он тоже от имени всех этих людей на улице? Или он от себя только работает?

– У нас суд, между прочим, народным называется. И что ты хочешь сказать?

– То, что он хоть от имени всех людей на улице действует, но засунутый за пазуху кошелек не принял бы. И Кирпича отпустил бы...

– И это, по-твоему, правильно?

Я думал долго, потом медленно сказал:

– Наверное, правильно. Я так понимаю, что если закон разок под один случай подмять, потом под другой, потом начать им затыкать дыры каждый раз в следствии, как только нам с тобой понадобится, то это не закон тогда станет, а кистень! Да, кистень...

Все замолчали, и молчание это нарушалось только гулом и тархтением старого изношенного мотора, пока вдруг Коля Тараскин не сказал со смешком:

– А мне, честное слово, нравится, как Жеглов этого ворюгу уконтрапупил...

Пасюк взглянул на него с усмешкой, погладил громадной ладонью по голове, жалеючи сказал:

– Як дытына свого ума немає, то с псом Панаской розмовляє...

И ничего больше не сказал. Шесть-на-девять стал объяснять насчет презумпции невиновности. А Копырин притормозил, щелкнул рычагом:

– Все, спорщики, приехали. Идите, там вас помирят...

Дом стоял в Седьмом проезде Марьиной Рощи, немного на отшибе от остальных бараков. Был он мал, стар и перекошен. Свет горел только в одном окне. Жеглов велел Пасюку обойти дом кругом, присмотреться, нет ли черного хода, запасных выходов и нельзя ли выпрыгнуть из окна.

А мы стояли, притаившись в тени облетевшего кустарника. Пасюк, сопя, обошел дом, заглянул осторожно в окна, махнул нам рукой. Жеглов постучал в дверь резко и громко, никто не откликнулся, потом шелестящий женский голос спросил:

– Это ты, Коля?

– Да, открывай, – невнятно буркнул Жеглов, и долго еще за дверью раздавался шум разбираемых запоров. Потом дверь распахнулась, и женщина, придерживая в ковшике ладони копилку, испуганно сказала:

– Ой, кто это?

– Милиция. Мы из МУРа. Вот ордер на обыск...

Мы вошли в дом и словно окунулись в бадью стоялого жаркого воздуха – пахло кислой капустой, жареными на комбижире картофельными оладьями, старым рассохшимся деревом, прогорелым керосином и мышами. Я заглянул за ситцевую занавеску, там спали в одной кровати два мальчика лет пяти-семи, повернулся к оперативникам, шумно двигавшим по комнате стулья, сказал вполголоса:

– Не галдите, ребята спят...

Жеглов усмехнулся, кивнул мне, усаживаясь плотно за стол:

– Давай, командир, распоряжайся!

Я взял лежащий на буфетике паспорт, раскрыл его, прочитал, взглянул в лицо хозяйке:

– Моторина Вера Степановна?

– Я самая... – От волнения она комкала и расправляла фартук, терла его в руках, и от беспорядочности этих движений казалось, будто она непрерывно стирает его в невидимом корыте.

– У вас будет произведен обыск, – сказал я ей нетвердым голосом и добавил: – Деньги, ценности, оружие предлагаю выдать добровольно...

– Какое же мое оружие? – спросила Моторина. – Все ценности мои на лежанке вон сопят. А кроме этого, нет ничего у меня. Карточки продуктовые да денег сорок рублей.

– Тогда сейчас пригласят понятых, и мы приступим к обыску, – предупредил я.

– Ищите! – развела она руками. – Чего найдете – ваше.

– А вы не удивляетесь, что обыск у вас делают, гражданочка дорогая? – спросил Жеглов, облокотившись на стол и положив голову на сжатые кулаки.

– Чего ж удивляться? Не от себя небось среди ночи в мою хибару поехали. Раз ищите, значит вам надо...

– А с чего вы живете? С каких средств, спрашиваю, существуете? – Жеглов, прищурясь, смотрел на нее в упор.

– Портниха я, дают мне перешивать вещички, – вздохнула она глубоко. – Там перехвачу, сям перезайму – так и перебиваемся...

– Кто дает перешивать? Соседи? Знакомые? Имена сообщить можешь?

– Разные люди, – замялась Моторина. – Всех разве упомнишь...

– А-а-а! – протянул Жеглов. – Не упомнишь! Тогда я напому, коли память у тебя ослабла: у воров ты берешь вещички, перешиваешь, а барыги-марвихеры их забирают и, пользуясь нуждой всеобщей, продают на рынках да в скупках. Так вот вы все и живете на людской беде и нужде...

– Ну да, – кивнула согласно Моторина. – Вон я как на чужой беде забогатела, мне самой много – хочешь, с тобой поделюсь...

– А ты меня не жалоби, – мотнул головой Жеглов. – Ишь, устроила – клуб для воровских игр и развлечений...

Он широко взмахнул рукой, как бы приглашая всех полюбоваться на патефон с набором пластинок и гитару с пышным бантом на стене.

– Тебя, видать, разжалобишь, – сказала Моторина и, повернувшись ко мне, предложила: – Вы, гражданин, ищите, чего вам надо. А хотите – спросите, может, я сама скажу, коли знаю, чтобы и время вам не терять...

– К вам когда приходил Фокс? – наугад спросил я.

– Фокс? Дня два тому или три...

– А зачем приходил? Что делал?

– Ничего не делал. Он у меня вещи свои держит, с женой не живет. Вот он забрал шубу и ушел...

– Какие вещи? – посунулся я к ней.

– Чемодан, – спокойно сказала Моторина. Зашла за занавеску и вынесла оттуда кожаный желтый чемодан с ремнем посередине – точно по описанию чемодан Ларисы Груздевой.

– А какую, вы говорите, шубу он взял?

– Так я разве присматривалась? Черная меховая шуба, под котик она, кажется. Сложил ее в наволочку и унес.

В чемодане оказались чернобурка, платье из панбархата, темно-синий вязаный костюм, две шерстяные женские кофты – почти все вещи, похищенные из квартиры Ларисы. Это была неслыханная удача, в нее было трудно поверить. Оставалось только понять, как эти вещи от Груздева попали к неведомому Фоксу. Если бы его удалось задержать, все встало бы тогда на свои места.

– А как попал к вам Фокс? – спросил я.

– Его привел как-то несколько месяцев назад Петя Ручечник. Сказал, что знакомец его, в Москву он в командировки часто наезжает, а с гостиницами плохо, просил приютить. Он мне платил помаленьку...

– Фокс в последний раз как выглядел?

Моторина с удивлением взглянула на меня, неторопливо объяснила:

– Приличный человек, одет в военное, только без погон. Очень культурный мужчина: слова плохого не скажет или чтобы с глупостями какими приставал – никогда. Но ночевал он редко – все больше принесет вещи, а потом забирает. Нет, ничего плохого про него не скажу – приличный мужчина...

– Скажите, Вера Степановна, – начал я, мучительно подбирая слова. – Вот как бы вы определили, вы же видели здесь жуликов, отличить можете... Фокс этот – преступник или нет?

– Не думаю, – рассудительно сказала Моторина. – Он научной работой занимается...

И вдруг мне пришла в голову неожиданная мысль, но, прежде чем я открыл рот, Жеглов выхватил из планшета фотографию Груздева – в фас и профиль – и протянул Моториной:

– Ну-ка, Вера, глянь – он?

Моторина долго крутила в руках фотоснимок, внимательно присматривалась, потом сказала нетвердо:

– Нет, не он вроде бы. Этот постарше. И нос у этого длинный... И не такой симпатичный...

– Что значит «вроде бы»? – рассердился Жеглов. – Ты же его не один раз видела, неужели не запомнила?

– А что мне в него всматриваться? Не замуж ведь! Но все ж таки этот – на карточке – не тот. Фокс – он вроде тебя, – сказала она Жеглову. – Высокий, весь такой ладный, быстрый. Брови у него взлет, а волосы курчавые, черные...

– Про чемодан что сказал? Когда придет? – спросил я.

– На днях обещал заглянуть – перед отъездом домой. Тогда, сказал, и вещи свои заберу...

Пока оперативники заканчивали обыск, я поинтересовался у Жеглова:

– Глеб, а кто такой Петя Ручечник?

– Ворюга отъявленный. Сволочь, пробы негде ставить...

– Разыскать его трудно?

– Черт его знает – неизвестно, где искать.

– А какие к нему подходы существуют?

– Не знаю. Это думать надо. Через баб его можно попробовать достать. Но он и с ними не откровенничает. – Жеглов встал и повернулся к Моториной. – У вас останутся два наших сотрудника. Теперь они будут вашими жильцами!

– Зачем? – удивилась она.

– Затем, что в доме вашем остается засада. Вам из дома до снятия засады выходить не разрешается...

– А сколько же ваша засада сидеть тут у меня будет?..

– Пока Фокс не заявится...

Еще не было одиннадцати, когда мы торопливо вывалились на улицу. Шагая к автобусу по немыслимым колдобинам Седьмого проезда, я с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух, который казался еще слаще после духовитой атмосферы Веркиного дома, и размышлял о том, какое все-таки чудо – личный сыск, когда в огромном многомиллионном городе не растворился, не исчез в людском скопище тонюсенький ручеек следов, начавшийся в квартире Груздевых, ушедший под землю, забивший нежданым ключиком во второсортном ресторанчике «Нарва», сделавший столько прихотливых извивов и вышедший на ровное место в Седьмом проезде Марьиной Рощи. Один лишь вопрос имеется: судя по всему, этот Фокс – тертый калач и, какой бы он ни был окраски, он из преступного мира. А Груздев все-таки врач, кандидат наук, человек почтенной специальности, и совершенно непонятно, что его может связывать с уголовником. Правда, я уже слышал о таком: Груздев мог нанять Фокса или как-нибудь иначе заставить его принять участие в преступлении, но, честно говоря, подобный вариант представлялся мне более похожим на рассказы Гриши Шесть-на-девять.

Дошли до автобуса, молча расселись по своим местам, Копырин лязгнул дверным рычагом, и «фердинанд» тронулся. На улицах было пустынно, и ехали быстро – промелькнул детский парк, заброшенное кладбище, выехали на Трифоновскую, потом на Октябрьскую. На площади Коммуны Тараскин вдруг сказал радостно:

– Гля, с театра-то камуфляж сымают, а?

Театр Красной Армии был хорошо освещен – на стройных его колоннах висели малярские люльки. Омерзительные зеленые разводы, маскировавшие театр при воздушных налетах под немыслимые, ненастоящие деревья, теперь тщательно закрашивали, и к огромным колоннам возвращалась их прежняя строгая красота...

Жеглов сказал мне:

– Значитца, так, Володя. Мы сейчас в Управление: надо Верку по учетам проверить, чемодан с вещичками посмотрим внимательно. А вы с Тараскиным едете дальше, на Божедомку, выявляете женщину, о которой говорил Кирпич. Сделаешь быстро установочку на нее, оглядишься – и к ней. Только осторожно: если тот орелик у нее, можете на пулю нарваться. А дальше – по обстоятельствам. Жду!

Автобус по Каретному подкатил к воротам дежурного по городу, ребята выскочили на улицу, а мы с Тараскиным поехали на Божедомку.

«Фердинанд» мы оставили за квартал до седьмого дома и пошли по тротуару неторопливой, фланирующей походкой, чтобы не привлекать внимания – так, два немного загулявших приятеля. Освещение было тусклое, фонари на редких столбах светили словно нехотя, и разбойно посвистывал в подворотнях пронизывающий, едкий октябрьский ветерок. Под номером семь оказалось, собственно говоря, не один, а целых три дома, и на каждом из них была табличка: «Дом 7, строение 1», «Дом 7, строение 2», «Дом 7, строение 3». Домишки неважные,

ветхие, скособоченные, обшитые почерневшими трухлявыми досками. Кирпич указал «строение 2», но списка жильцов в подъезде не было, да и что от него толку, когда нам неизвестна фамилия знакомой Фокса? Надо было искать дворника.

– Эх, за участковым следовало заехать! – шепотом пожалел Тараскин, и я не успел согласиться, как из двора вышел человек в подшитых валенках, зимней шапке-ушанке, с огромной железной бляхой на фартуке – дворник. Попыхивая невероятных размеров «козьей ногой», он подошел к нам, подозрительно присмотрелся и спросил неожиданно тонким, скрипучим голосом:

– Ай ищите кого, граждане? Вам какой дом надобен?..

Я торопливо достал из кармана гимнастерки свое новенькое удостоверение и с удовольствием – предъявлять его приходилось впервые – показал дворнику. И сказал вполголоса:

– Нам управляющий седьмым домом нужен. Срочно!

Дворник пыхнул сигаркой, окутавшись таким клубом едкого дыма, словно дымзавесу химики протянули, и сказал вполголоса, будто огромную тайну нам доверил:

– Воронов Борис Николаевич. Они тут же, при домправлении проживают. Спят, должно...

– Веди! – скомандовал Тараскин, и мы двинулись вслед за дворником к домоуправу, который, как вскоре выяснилось, не спал, а сидел в конторе с большой кружкой чая в единственной руке и читал «Пещеру Лейхтвейса», засаленную и растрепанную.

Мы полистали домовую книгу, такую же древнюю, как «Пещера», только для нас в данный момент более интересную. В строении № 2 проживало четыре семьи. Муж и жена Файнштейны, оба рождения 1873 года. Суетовы – Марья Фоминична, 1903 года рождения, и ее сыновья-близнецы, тридцать пятого года рождения. Фамилия Суетова Ивана Николаевича, 1900 года, была прочеркнута, и сбоку красными чернилами написано: «Погиб на фронте Отеч. войны 17 дек. 1941 года». Курнаковым досталось два таких прочерка, а значились женщины – видимо, свекровь и сноха, Курнакова Зиновия, 1890 года, и Курнакова Раиса, 1920 года. Завершался список квартиросъемщиков «строения 2» Соболевской Ингрид Карловной, 1915 года рождения. Курнаковы и Соболевская жили на втором этаже, поэтому я сразу же и попросил управляющего:

– Борис Николаевич, опишите нам коротенько жильцов второго этажа...

– Пожалуйста. – Воронов, прижав коробок ладонью к столу, очень ловко чиркнул по нему спичкой, закурил. – Соболевская – женщина интеллигентная, певицей работает, разъезжает часто. Ведет себя скромно, квартплату вносит своевременно...

– До войны еще замуж вышла, – вмешался дворник. – Переехала к мужу, да как война началась, он погиб в ополчении. Она и вернулась... Приличная жилища, себя соблюдает, не то что Катька Мокрухина из двадцать седьмой, покою от нее ни днем ни ночью нет...

– Постой, Спиридон, что из тебя, как из рваного мешка, сыплется! – сказал домоуправ, и дворник обиженно замолчал. – Теперь Курнаковы. Зиновия Васильевна на фабрике работает, ткачиха, а невестка, Рая, та дома по хозяйству – больная она, после контузии видит плохо, ей лицо повредило... А так люди хорошие, простые...

Мы с Тараскиным переглянулись – выбирать было не из чего, – попрощались с домоуправом, позвали с собой дворника и вышли. На втором этаже слабо светило из-за тюлевой занавески одно окно. Дворник показал на него, бормотнул:

– Соболевская...

– Слушай, друг! – Я положил ему руку на плечо. – Ты не видал, часом, парень к ней ходит, довольно молодой...

Спиридон почесал затылок, сказал неуверенно:

– Кто ее знает... Ходют, конечно, люди... Ходют. И молодые ходют. А какой он из себя?

В спешке у Кирпича не взяли подробного словесного портрета Фокса, да и тактически было неправильно показывать Кирпичу, что ищем мы и сами не знаем кого, и теперь, кроме скупой Веркиной характеристики: «Ладный, брови вразлет, высокий, черный», я ничего о Фоксе и сказать не мог. Так я и объяснил:

– Высокий, ладный такой, брови вразлет, волосы черные...

– Вроде заходил наподобие... – сказал задумчиво дворник, и было видно, что он говорит это скорее из желания сделать приятное работникам милиции, беспокоящимся в такую поздноту. И совершенно бездумно повторил: – Высокий, ладный...

– В военной форме, только без погон, – вспомнил я.

– Так ведь сейчас все в военной форме без погон ходит, – резонно возразил дворник. – Это я тут слышал, как один сговаривался по телефону с другим спознаться: я, говорит, буду в галошах и в пиджаке.

– И то верно, – согласился Тараскин и сказал мне: – Хватит небось рассусоливать, пошли к ней, там видно будет...

Мы вошли в подъезд, темный, пропахший старым крашеным деревом, кошками, щами и оладьями из картофельной кожуры, которые все называли тошнотиками. Наверх вела старая перекосившаяся лестница, и от одного только взгляда на нее, казалось, поднимался невероятный скрип. Между этажами горела маленькая пыльная лампочка – уныло, вполнекала, еле-еле самое себя освещала.

– Вы меня здесь подождите, – шепнул я и двинулся наверх неслышным плывущим шагом, от которого уже начал на гражданке отвыкать; приткнулся к двери Соболевской. За дверью было совершенно тихо, и я стал прикидывать, под каким предлогом лучше всего стучаться в квартиру.

С одной стороны, Кирпич мог наврать, показать вовсе и не тот дом, и в этом случае мы сейчас поднимем неповинного человека, одинокую женщину. Невелика радость ей посреди ночи двери открывать кому бы то ни было. С другой стороны, если адрес правильный, Фокс может сейчас быть здесь, а поскольку он мальчишечка серьезный, то и бабахнет за милую душу. Жеглов не зря предупреждал. Конечно, был бы здесь Жеглов, он бы что-нибудь придумал...

В общем, какие фортели ни перебирай, а входить надо. И если Фокс там, наш приход должен выглядеть понатуральней, а всякие там «примите телеграмму» и все такое прочее сразу наведет его на подозрение.

Я опять спустился, быстро отдал распоряжения:

– Тараскин, ты давай под окна на всякий случай – вдруг сиганет, здесь невысоко, так что ты его встретишь. А ты, дед Спиридон, со мной. Она тебя знает?

– Знает, – буркнул дворник.

– Скажешь ей, что с тобой милиция – проверка документов. Извинись.

Дворник кивнул, и мы пошли наверх. Стучать в дверь пришлось довольно долго, наконец сонный испуганный женский голос спросил:

– Кто там?

– Это я, дворник, Спиридон Иванович, – сказал дед, прокашлявшись. – Вы уж извините, гражданочка Соболевская, отворите на минутку...

Дверь приоткрылась – видимо, на цепочке. Соболевскую в темном коридоре не видно было, но она, наверное, разглядела дворника и сказала уже спокойнее, но с раздражением:

– Что приключилось, Спиридон Иванович?

– Да вот из милиции, проверка документов, вы уж отворите, – сказал виновато дворник, и Соболевская, сняв цепочку, открыла дверь, зажгла свет в прихожей.

Я поздоровался и сразу же, бормотнув: «Извините», прошелся по квартире – ни в комнатах, а было их две, ни в крохотной кухоньке, ни в таком же крохотном туалете никого не было. Только убедившись в этом, я вернулся в прихожую, сказал хозяйке:

– Извините, пожалуйста, гражданочка. Служба! – И, разведя руками, пояснил: – Время трудное, паспортный режим приходится соблюдать.

Соболевская хмуро, без всякого сочувствия, кивнула. На ней был толстый махровый халат, голова низко – по самые брови – плотно завязана шелковой косынкой, лицо покрыто таким густым слоем белого крема, что черты толком разглядеть невозможно. Я помялся немного, попросил:

– Мне бы поговорить с вами хотелось. Можно?

Соболевская пожала плечами:

– Ну-ну... Если это необходимо... Извините за такой вид... Лицо – мой профессиональный инструмент... Прощу в гостиную.

Мы прошли в гостиную – небольшую, на мой взгляд, богато обставленную комнатку, очень не похожую на ужасный внешний вид «строения 2». Многое мне здесь понравилось и удивило: красивый пушистый ковер, лежавший на полу, в то время как многие охотно повесили бы такой ковер на стену, кабы достали, – жалко мне было ногами топтать такую добрую вещь, – и стоящая на полу лампа в виде узкой длинной китайской вазы с огромным темно-красным пушистым абажуром, и коротконогий столик с хрустальной пепельницей и ворохом красивых зарубежных журналов, и низкие мягкие кресла. Я так засмотрелся на все это, что чуть не забыл о цели своего прихода, но хозяйка, даже не предложив сесть, сухо напомнила:

– Так я слушаю вас...

Я взглянул на дворника, который столбом замер в прихожей. В предстоящем разговоре он был человеком лишним, и я сказал:

– Спасибо, Спиридон Иванович, за службу. Свободен!

Дворник ушел, а я осторожно присел на краешек кресла – умаялся за день! – и приготовился спрашивать, не в лоб, конечно, а осторожно, с подходцем. Соболевская, скривив губы, закурила длинную пахучую папиросу и тоже села.

– Ходят последнее время по разным домам разные люди... – начал я весьма неопределенно, поскольку и сам еще не представлял, как выстроить план атаки, и все слова, подходящие и уместные мысли испарились, и снова я с завистью вспомнил о Жеглове – он-то не растерялся бы, – но поскольку Жеглов находился совсем в другом месте, мысленно махнул рукой и пустился во все тяжкие: – Под видом, значит, государственных этих... служащих, жульничают, ну и... В порядке, так сказать, предупреждения... К вам приходил кто за последнее время?

– Только мои хорошие знакомые, – твердо сказала Соболевская и этим ответом напрочь отсекала возможность развития темы о каких-то неизвестных проходимцах. И тогда я плюнул на все подходы и спросил прямо:

– А четыре дня назад вечером к вам приходил... Кто такой?

Зажав длинный мундштук папиросы двумя пальцами и красиво отставив мизинец, Соболевская глубоко затянулась, выпустила узкую струю пахнущего медом дыма, не спеша, растягивая слова, сказала:

– А-а... Во-от вы о чем... Н-ну что ж... Этого человека я действительно мало знаю... – И надолго замолчала.

Я добыл из кармана измочаленную пачку «Норда», размял папироску, чиркнув трофейной зажигалкой, тоже закурил. Молчание затягивалось, но молчать – не разговаривать, молчать я могу всерьез и подолгу, и поэтому я спокойно потягивал дымок, аккуратно скидывал пепел в ладонь, пока весь табачок не прогорел и жженой бумагой не запахло; тогда я поднялся, отряхнул мусор в пепельницу и выжидательно посмотрел на Соболевскую.

– Не скрою, я хотела бы знать его лучше, – сказала она так, будто никакой паузы вовсе и не было. И огорченно развела руками. – К сожалению, у меня это не получилось...

Она опять молчала, глубоко вздыхала, думала о чем-то, должно быть, невеселом или неприятном, потому что глаза ее сначала увлажнились, а потом зло сощурились, она с силой раздавила окурочек в пепельнице и сказала:

– Это мой любовник. Бывший. Мы познакомились полгода назад случайно, и мне показалось, что... А-а!.. – Она закурила новую папиросу. – В общем, у нас ничего не получилось и мы разошлись. Фокс – так его зовут. Вернее, зовут его Евгений, но он предпочитал, чтобы я называла его по фамилии...

– Работает?.. – осведомился я деловито.

– Секрет! Он скрывал, где работает, где живет... У него сплошные секреты!

– Да?

– Как-то раз он дал мне понять, что имеет отношение к Смержу.

– К Смершу, – поправил я.

– Может быть, – равнодушно сказала Соболевская. – Я в этом не разбираюсь. И не в этом дело. Я не знаю, что он там по вашей линии наколбасил, но я ему... не верила. И всегда думала, что он плохо кончит!..

– Это почему же?

– Н-ну... не знаю, поймете ли вы меня... Он, как бы это вам сказать... необычен, понимаете? Я имею в виду не внешность, о нет! Хотя он и красивый парень. Но я о другом. Он способен на поступок. Он дерзок. Смел. Силен. Не то что остальная мужская братия...

Я даже поежился – столько презрения к «остальной мужской братии» прозвучало в ее голосе – и с неожиданным сочувствием подумал, что немало, верно, довелось ей горького хлебнуть в жизни, раз она так заостряется. Но что-то мы отвлеклись, и я напомнил:

– Насчет того, что он плохо кончит...

– А! У него всех этих качеств – *слишком*. Таким людям трудно удержаться в границах дозволенного.

– Понял, – кивнул я. – И давно вы разошлись?

– Три месяца назад. И больше не виделись, кроме того раза, о котором вы спросили.

– А что случилось? Пришел он зачем?

– Всего-навсего за бритвенным прибором.

Я подумал и спросил вроде бы в шутку:

– Срочно побриться захотел?

Но Соболевская ответила вполне серьезно:

– У него «жиллет» – хорошая заграничная бритва, и он ею очень дорожил.

Довод этот мало меня убедил, но я уже сообразил, что с такой собеседницей не очень-то поспоришь, и сказал мирно:

– Ага, ясно. Где он живет?

Соболевская впервые за весь разговор улыбнулась:

– Мне стыдно за свое легкомыслие, но... он не хотел говорить, а я его не допрашивала...

И я вдруг понял, что ей действительно стыдно, до слез, до боли, и она подшучивает над своим легкомыслием, чтобы другие первыми не посмеялись над ней. А она спросила:

– Он натворил что-нибудь серьезное? Если не секрет, конечно?

Она не вызвала у меня подозрений, да и почему-то мне стало ее жалко, но поскольку главная добродетель сыщика, по словам Жеглова, все-таки есть хитрость и сам я полагаю так же, то я слукавил:

– Да как вам сказать... Здорово похож он на одного злостного алиментщика. Двоих ребят бросил, а сам порхает... – И, разведя руками, я широко улыбнулся, а потом добавил, понизив голос: – Нам по приметам дворник-то ваш и подсказал... – На лице у Соболевской появилось прежнее брезгливое выражение, но я, не давая ей времени на размышления, попросил: – Имя-то ничего еще не говорит – вы же в его паспорт не смотрели? Опишите его – какой он?

Не глядя на меня, Соболевская сказала презрительно:

– Конечно, роль вы мне отвели малопочтенную... Но ради двух голодных несчастных брошенных детей... Так и быть, слушайте... – И никакого сочувствия к несчастным брошенным детям Фокса я не уловил в ее голосе, а скорее звенела в нем амбиция отвергнутой любовницы. Уставившись неподвижным взглядом в угол, Соболевская монотонно перечисляла: – Высокий, строен, широк в груди, узок в талии, голова красивая, гордая, с пышной шевелюрой вьющихся черных волос... Лицо бледное, лоб высокий, глаза синие, брови соболиные, нос орлиный, рот... Рот, пожалуй, его портит, губы слишком тонкие, но для мужчины это не страшно... Зубы ровные, на подбородке – ямочка... Голос хриловатый, но нежный. Умен и отважен. Впрочем, вас это не интересует... Все!

И совершенно неожиданно заплакала.

Приближается зима, многие москвичи уже озабочены подшивкой валенок. До сих пор эта работа выполнялась вручную. Инженер Дятлов сконструировал для подшивки валенок специальную машину, на которой мастер сможет подшить за день до 150 пар валенок.

«Вечерняя Москва»

Я проснулся без четверти шесть от холода, – укладываясь спать, Жеглов растворял настуженное окно и утверждал, что от свежего воздуха человек высыпается вдвое быстрее. На цыпочках я перебежал к окну, ежась от холода, быстро прикрыл раму и начал делать зарядку, и чем быстрее махал руками и ногами, тем становилось теплее. Из-за серого дома Наркомсвязи вставало красное, чуть задымленное облаками солнце, сиреневые и серые рассветные тона растекались под карнизы и крыши, и сейчас стало видно, что кровли покрыты серебряной испариной первого утренника. Воздух был прозрачен и тягуч – он слоился струями и имел вкус снега и хвои. Посмотрел я, посмотрел и снова открыл окно.

Из-под одеяла вылезла взлохмаченная жегловская голова, и хриплым со сна голосом он спросил встревоженно:

– Але, мы с тобой не проспали?

– Давай вылезай скорее, сейчас чай будет...

К чаю у нас было четыре пакетика сахара, котелок вареной картошки, холодной правда, но все равно вкусной, с тонкой солью «Экстра», и две банки крабов. Я купил крабы позавчера в соседнем магазинчике – их продавали вместе с белковыми дрожжами без карточек, и весь магазин был заставлен пирамидами, сложенными из блестящих баночек с надписью «СНАТКА» и «АКО».

– Конечно, краб – это не пища, – рассуждал Жеглов за столом. – Так, ерунда, морской таракан. Ни сытости от него, ни вкуса. Против рака речного ему никак не потянуть. Хотя если посолить его круто и с пивом, то ничего, все-таки закусочка. Но едой мы его признать никак не можем...

Я, как ответственный за снабжение, обиделся:

– Ты же сам просил меня карточки не отоваривать за эти дни, побережь к праздникам, – может, толковое что-нибудь выкинут! У нас за целую декаду карточки сохранились, а ты бубнишь теперь!

– А я разве что? Правильно действовал. Но знаешь, если еду поругать, то себя самого выше понимаешь. А с собой имеем что-нибудь? Там ведь на свежем воздухе жрать как волки возжелаем...

– Вон я уже в авоську упаковал харчи. Рацион, значит, такой предлагается: два гороховых брикета-концентрата, буханка хлеба, три луковицы-репки, небольшой шматок сала и три куса рафинада натурального. Заварка чайная, само собой. Хватит?

– Хватит. Может, крабов еще пару банок возьмем?

– А тебе там пива к ним не заготовили, – ехидно сказал я.

– Стану я на вас надеяться, – хмыкнул Жеглов и, нырнув за диван, вытащил оттуда поллитровку. – Подойдет?

– Живем, – засмеялся я. – Вот только ехать мне не в чем – ботинки совсем развалились.

– А сапоги?

– Да ты что, Жеглов? Они же у меня теперь единственные – хромовые, офицерские, – а я в них по глине там топтать стану? В чем мне тогда завтра-то ходить?

– Плюнь! Живы будем – новые справим.

– Ну нет, – не согласился я. И отправился к Михал Михалычу.

А Жеглов натянул свои щегольские сапожки и почистил их еще на дорогу, словно собирався не на огороды, а к руководству. Он уже совсем был готов, когда я вернулся – в отрезных подшитых валенках с кожмитовой подошвой и простроченными носами. В придачу они еще были маловаты.

– Брось людей смешить, – сказал Жеглов. – Солнце на улице, а ты в валенках...

– Ничего, ничего. Я ведь не танцевать еду, а работать, так что посмотрим еще, кто кого насмешит...

Мы шли по городу, утренне просторному, воскресному, и солнце уже стало желтым, мягким, а воздух я прямо разгребал горстями. На Сретенском бульваре замерли недвижимо липы, и сказал я Жеглову с грустью:

– Эх, жалко! Сейчас после заморозка солнышко прогреет – сразу лист потечет...

На Кировской в огромном доме ЦСУ рабочие снимали со стеклянных стен фанеру, которой было забито легкое воздушное здание все долгие военные годы. На Комсомольской площади трещали и гомонили трамваи, бегали люди с мешками и чемоданами, шум и гам стоял невообразимый, и разрывали его только острыми голосами мальчишки, продававшие скупленные заранее журналы «Крокодил», и деньги просили они немалые – червонец за штуку, хотя цена была рубль двадцать.

Мы с Жегловым направились к седьмой платформе, где должны были встретиться с остальными сотрудниками Управления прямо у электрички. Издали мы увидели плотную компанию, из которой нам призывно махали руками Пасюк и Тараскин. А когда подошли вплотную, какая-то девушка шагнула мне навстречу:

– Здравствуйте, товарищ Шарапов! – И поскольку я от растерянности не ответил, спросила: – Вы меня не узнаете?

Я смотрел на Варю Синичкину и проклинал себя, крестьянскую свою скупость, и вместо того, чтобы поздороваться с ней, думал о Жеглове – всегда и во всем тот впереди меня, потому что не бережет на выход свои единственные сапоги и на копку картошки не берет у Михал Михалыча старые подшитые валенки, а натягивает свои сияющие «прохаря», и если судьба дарит ему встречу с девушкой, которую уже однажды по нескладности, неловкости и глупой застенчивости потерял, то ему не придется выступать перед ней в дурацких валяных ко`тах...

– Моя фамилия Синичкина, – нерешительно сказала девушка. – Мы с вами в роддом малыша отвозили...

На ней была телогрейка, туго перехваченная в поясе ремнем, спортивные брюки и ладные кирзовые сапоги, и вся она была такая тоненькая, высокая, с лицом таким нежным и прекрасным, и огромные ее серые глаза были так добры и спокойны, что у меня зашло сердце.

– Вы забыли меня? – снова спросила Синичкина, и я неожиданно для самого себя сказал:

– Я вас все время помню. Вот как вы ушли, я все время думаю о вас.

– А на работе? – засмеялась Варя. – Во время работы тоже думаете?

– На работе не думаю, – честно сказал я. – Для меня эта чертова работа все время как экзамен, непрерывно боюсь, чтобы не забыть что-нибудь, сообразить стараюсь, разобраться, запомнить. У меня башка ломится от всей этой премудрости...

– Ничего, научитесь, – заверила серьезно Синичкина. – Мне первое время совсем неважно было. Даже на гауптвахту попала. А потом ничего, освоилась.

– А за что же на гауптвахту? – удивился я.

– Я только месяц отслужила, и у подружки свадьба, приехал с фронта ее жених. А я дежурю до самого вечера – никак мне не успеть прическу сделать. Ну, я думаю: чего там за полчаса-то днем произойдет? И с поста – бегом в парикмахерскую, очень мне хотелось шестимесячную сделать. Прямо с винтовкой и пошла – мы тогда еще на постах с винтовками стояли. А тут как раз проверяющий – бац! И мне вместо свадьбы – пять суток на губе! – Она весело расхохоталась, и, глядя на влажный мерцающий блеск ее ровных крупных зубов, я тоже стал завороченно улыбаться и с удивлением заметил, что мне совсем не стыдно рассказывать ей о своей неумелости и бестолковости, и то, что я так тщательно скрывал все это время от товарищей, ей открыл в первый же миг, и почему-то незаметно растворилась неловкость из-за проклятых валенок, и осталось только ощущение добродушной улыбочки, незамутненной чистоты этой девушки и непреодолимое желание взять ее за руку.

Я, наверное, так и сделал бы, но Варя показала мне на человека, идущего по платформе:

– Этот дядька сейчас упадет...

Профессорского вида полный пожилой мужчина в толстых очках, шурясь, высматривал место посадки в электричку. В руках у него были завернутые в мешковину саженцы, а по доскам перрона вслед за ним волочились развязавшиеся шнурки ботинков. И прежде чем я открыл рот, Варя Синичкина побежала к нему:

– Постойте, дядечка, вы сейчас наступите на шнурок! – Нагнулась и быстро, ловко завязала ему шнурки на обоих ботинках. – Вот и все в порядке! – И раньше, чем смущенный толстяк успел ей сказать что-либо, она уже вернулась ко мне, спрашивая на ходу: – А как вас зовут? А то неудобно мне вас называть «товарищ Шарапов»!

– Володя, – отрекомендовался я и снова смутился: как-то глупо это у меня получилось, будто в детском саду! Взрослый человек, двадцать два года, старший лейтенант – и Володя! Сказал бы еще – Вова!

– Владимир... – сказала Варя. – Хорошее имя, старое. Мне нравятся такие имена. А то была мода на иностранные, столько ерунды с этим получалось! Со мной в школе мальчик учился, Кургузов, так его родители называли Адольфом. Представляете, сколько он мук натерпелся потом – Адольф Кургузов! А мальчишка хороший был, он под Яссами погиб...

Жеглов постучал согнутым пальцем в мою спину, как в дверь:

– Можно? Сейчас поезд подадут, так ты очнись, пожалуйста, места надо будет занимать...

К платформе медленно подъезжала переполненная электричка, тараня плоским своим лбом прозрачный плотный воздух. У открытых дверей толпились люди, пассажиры на перроне невольно отступили на шаг от края. И тогда Жеглов, плавно оторвавшись всем телом от настила, изогнулся в воздухе гибко и легко – и в следующий миг он уже стоял в тамбуре. Сходящие толкали его узлами и сумками, коробками и мешками, кричали на него и обзывали всячески, но он вворачивался в их плотное месиво, отругивался, смеялся и шутил, и еще не все вышли из вагона, когда он высунул голову из окна:

– Две лавки в нашем распоряжении. Поторпливайтесь...

Варя от души хохотала, я смотрел на него с завистью, Тараскин все воспринимал как должное, Пасюк качал головой: «От жук, ну и жук!» – а Шесть-на-девять уже рассказывал, как он семь суток вез на крыше пульмана стеклянный бочонок с медом. Почти все сотрудники Управления влезли в один вагон, и сразу возник слитный шум от разговора множества знакомых между собой людей.

Жеглов уже заключил пари с Мамыкиным из второго отдела, что его бригада накопает картошки больше, чем они:

– Мы в работе лучше, мы и картошкой вас закидаем!

Шесть-на-девять, устроившийся в середине букета девочек из наружной службы, закончил рассказ про пульман и объяснял, что у него удар правой рукой – девяносто килограммов, а левой – девяносто пять и что чемпион страны по боксу Сегалович уклонился от встречи с ним. Девчонки-милиционерши уважительно щупали его бицепсы и от души заливались. Коренастая блондиночка Рамзина из дежурной части гладила его по сутулой спине и говорила:

– Гриша, женись на мне, я тебя никому в обиду не дам... А уж Льву Сегаловичу тем более...

Ребята из ОБХСС играли на перевернутом чемоданчике в домино, а Тараскин искоса взглянул на них и, наверное, из зависти, что ему не нашлось места, высокомерно сказал:

– Самая умная игра после перетягивания каната!

Пасюк забрался в угол и сразу же крепко заснул. Варя посмотрела на него и с жалостью сказала:

– Обида какая! Человек треть своей жизни проводит во сне! Представляете, как досадно проспать двадцать пять лет! Ужасно! Двадцать пять лет валяешься на боку и ничего с тобой интересного не происходит! Хорошо хоть, что сны снятся. Владимир, вам часто сны снятся?

– Редко, – признался я, и тон у меня был такой, будто это моя вина или есть во мне какой-то ущерб, по причине которого редко сны снятся. И я добавил, оправдываясь: – Устаем мы очень сильно...

– А мне сны часто снятся! – радостно сказала Варя, сияя своими серыми глазами, и мне невыносимо захотелось проникнуть в ее сон, узнать, что видит она в голубых и зеленых долинах волшебных превращений яви в туманную дрему неожиданно пришедшей мечты.

– Сегодня тоже снился? – спросил я серьезно.

– Да! Но я его не весь запомнила – он снился мне как раз перед тем, как проснулась. Не помню, как получилось, но снилось мне, что я хожу по огромному дому, стучу во все двери и раздаю людям васильки и ромашки – почему-то были там только ромашки и васильки. И столько я цветов раздала, а букет у меня в руках меньше не становится. И никак не могу вспомнить, знакомые это мне люди или чужие...

Я взял ее за руку, и она не отняла свою тоненькую ладошку, и мне ужасно захотелось рассказать ей про удивительный сон, который я видел прошлой зимой в полузаваленном блин-даже на окраине польского города Радом: снился мне перед рассветом синий луг с ослепительно-желтыми цветами, которые спокойно жевала наша батальонная грустная лошадь Пачка, и я хотел закричать во сне, что надо отогнать ее – там мины, – но немота и бессилие сковали меня, и через синий луг побежал к Пачке белообрый конопатый солдат Любочкин, и во сне кричал я и бился, стараясь остановить его, и проснулся от воя и протяжного грохота, расположенного криком: «Любочкина миной разорвало!»

Но ничего я не сказал про свой запомнившийся с войны сон, а только, наклонившись к ней ближе, негромко пробормотал:

– Варя, сказать вам, о чем я мечтаю?

– Скажите! Мне всегда интересно, кто о чем мечтает!

– Я мечтаю, что когда-нибудь у меня в доме постучат в дверь, я открою и увижу вас...

– А ромашки и васильки? – засмеялась Варя. – Сейчас уже октябрь...

– Это не важно. Лишь бы вы пришли... – сказал я, глядя чуть в сторону.

Она улыбнулась и мягко, осторожно вытащила свою руку из моей. А Жеглов взял у кого-то гитару и быстрым, ловким своим баритончиком запел песню, отбивая на струнах концы фраз.

Мне и песня нравилась, еще больше нравилось, как поет ее Жеглов, но совсем мне не нравилось, как смотрит на него Варя. Будто и не кричал Жеглов на нее когда-то во дворе дома по Уланскому переулку – лучше бы она была позлопамятнее! Жеглов спел еще несколько песен, отдал гитару и стал что-то негромко говорить Варе на ухо; все время посмеивался он при этом,

хищно поблескивали коричневые его глаза, и полные губы немного оттопырились, будто держал он в них горячую картошку. А Варя слушала его с удовольствием, и мне это было непереносимо: я ведь видел, как ей интересны жегловские байки. Потом она махнула на него рукой и сказала:

– Да бросьте! Сроду ни в одном кинофильме не было хорошего человека в пенсне! Ни в книге, ни в кино – никогда положительный герой не носил пенсне. Вот если бы мне нужны были очки, я бы назло всем пенсне купила!

– Варя, да какая же ты положительная? – серьезно спросил Жеглов. – Ты остро отрицательная – вон, взгляни, как смотрит на меня Шарапов! Зарэжет! И все из-за тебя!

Я смутился от неожиданности, пробормотал что-то, и Жеглов уже изготавился разобратся со мной как следует, но Тараскин сказал:

– Станция Софрино. Следующая – Ашукинская, нам сходить...

До огородов было километра полтора, и шли мы всей гурьбой вдоль железнодорожной насыпи, через перелесок, по берегу уснувшей речки. В заводях пузырято чешуилась зеленая ряска, а на протоке виднелось полосатое песчаное дно со спутанными космами водорослей. Неостановимо несло ветерком переливающуюся паутину, клейкие ее ниточки садились еле ощутимо на лицо. Стояли уже прибитые первым заморозком травы. Багровел жесткими листочками черничник, замер по сторонам бронзовый багульник, а в лесочке еще видна была среди листвы и трав фиолетовая, словно заиндевшая, голубика.

Варя шла впереди с Жегловым, а я нарочно отстал – я понимал, как нелепо выгляжу в своих валенках, каменно молчаливый и неуклюжий, рядом с Жегловым. Настроение испортилось, не хотелось смотреть вперед, туда, где рядом с Жегловым вышагивала по плотной убитой дороге своими длинными стройными ногами Варя, а Жеглов одновременно что-то рассказывал, махал руками, свистел, изображал в лицах – целый МХАТ в сияющих хромовых сапогах...

Пасюк похлопал меня по плечу, широко ухмыльнулся:

– Гей, хлопче, нэ журывсь!

– А мне-то что? – пожал я плечами. – Какое мое дело...

– Тож то я и бачу, шо тобі нема дила, як до цыганив, шо твого коня уводили!

Не ответив, я только рукой махнул, а Пасюк заметил:

– Гарна дивчина. Надоест ей Жеглов, дуже он швыдкий. Ее на той фейерверк не пидманишь... – Посмотрел мне хитро в глаза. – Або и замазка оконная ей не подойдет, ты свой характер покажи...

Пока я раздумывал, как это мне показать Варю свой характер, да так, чтобы он ей понравился больше жегловского, дошли мы до огородов. Стояла там на меже фанерная хибарка, где жил сторож дед Максим. Встретил старик нас радостно, поинтересовался, не привезли ли чего «старые кости согревающего», роздал нам лопаты, мотыги-тыпки, мешки, указал всем делянки, уселся на перевернутую корзину, задымил короткой толстенькой трубкой и скомандовал:

– Ну, молодежь, нагулялись, надышались, «шу-шу-шу» – наговорились, а теперя зачинайте...

Варя подошла ко мне и, заглядывая в лицо, спросила:

– Володя, можно я с вами рядом буду копать?

– Пожалуйста! – обрадовался я. – Я думал, что вы с Жегловым...

Варя хитро улыбнулась, покачала головой:

– Нет. Я с вами хочу...

А Жеглов уже расставлял ребят из своей бригады в цепь поперек картофельных гряд:

– Я первый, вторым Пасюк, третьим Тараскин, Гриша, ты следующий, замыкает Шарапов...

– За мной Варя, – твердо сказал я.

Жеглов покачал головой:

– Этак нас бригада Мамыкина обставит – вон они Рамзину взяли, а на ней бревна можно возить...

– Меня это не касается, – сказал я, и Жеглов, мельком взглянув на меня, пожал плечами:

– Я ведь против Варвары и не возражаю. Я только хотел облегчить ее участь...

Я с ним больше спорить не стал, сбросил гимнастерку, поплевал на руки и ухватисто взялся за лопату.

– Начали? – спросил-скомандовал я, и все дружно воткнули блестящие лезвия лопат в податливую красноватую землю на полный штык.

Зашуршала, хрустнула, вязко огрузла на железе земля, лопнули с чмоком корешки, нажал я на пружинящий черенок лопаты, дожимая его к самой меже, а левой рукой перехватил поближе к штыку, и раздалась подсохшая корка землицы, выворотил я весь куст целиком, бросил сбоку, и отсыпавшийся грунт открыл большие желто-розовые клубни...

И сколько было нас в цепи – вынули первые картофелины и заорали дружно что-то восторженное и бессмысленное, как тысячи лет уже орут люди, вместе, сообща взявшие трудную добычу. Выворотил я второй куст, оглянулся на Варю, которая была рядом – только руку протянуть, – и оттого, что была она рядом, кричащая и смеющаяся вместе со мной, я почувствовал в себе такую силу, будто внутри меня заработал трактор, и в этот момент мог я вполне свободно и сам, один, перекопать все поле.

Крутанул следующий куст, взглянул на Жеглова – он уже продвинулся на шаг вперед, – и стало мне смешно: мог ли он в своих распрекрасных сапожках здесь со мной мериться силой? И вогнал я лопату в землю, перевернул, отвалил грунт и клубни, и снова вогнал, и снова, снова...

Ах, с каким счастливым, радостным остервенением копал я влажную красноватую землю! Господи, кому же мог я тогда объяснить, какое это счастье, удовольствие, отдых – копать солнечным тихим утром картошку на станции Ашукинская, когда совсем рядом идет, посмеиваясь и светя своими удивительными глазами, Варя? А не рыть, заливаясь горьким, едучим потом, в июльский полдень под Прохоровкой танколовушку, не останавливаясь ни на миг, не распрямляясь, умирая от жажды и зная, что прикрывает тебя только батарея сорокапятимиллиметровок и побитый взвод пэтээров, в уверенности, что если мы не поспеем, то через час или через полчаса, а может, через минуту выползут из-за взлобка «тигры» и сомнут нас, размолотят батарею и гусеницами превратят нас в кровавое месиво... А над плечом моим тонко и просительно гудит пожилой капитан-артиллерист: «Три ловушечки, ребяточки, дорогие мои, поспейте, ради бога, только бы лощинку прикрыть, а здесь мы их не пропустим, только вы нам фланг прикройте, родимые...» А я хриплю ему обессиленно: «Валежник, кусты тащите скорее...» И когда перед вечером «тигр», весь багрово-черный от косых лучей падающего солнца, в сизом мареве дизельного выхлопа, накатил на край громадной, нами откопанной ямы, прикрытой жердями и травой, закачался и с ужасным треском провалился, оставив снаружи только пятнистую бронированную задницу, мы вот так заорали все вместе – счастливо и бездумно; и тогда, а может, много спустя, уже в госпитале, но кажется, именно тогда я вспомнил рисунок из школьного учебника: охотники бьют свалившегося в огромную яму мамонта...

И я кидал картошку с удовольствием, весело, легко и быстро, только дойдя до края гряды, обернулся назад и закричал пыхтящему вдалеке Жеглову:

– Смотри, без огрехов копай! До последней картошечки!..

Жеглов выпрямился, помял поясницу и ответил:

– Ты к нам в ОББ по ошибке попал! Не ту работу себе выбрал... – И снова стал с остервенением швырять землю.

Вдруг кто-то положил мне на плечи легонько руки: я даже и не подумал сразу, что это Варя, пока не услышал за спиной ее тоненький девчачий голос:

– Володя, ты не рвись так – устанешь...

Обернулся я, взглянул на нее и только тут рассмотрел, что глаза у Вари разные – один ярко-серый, а другой зеленоватый, – и от этого лицо ее было доверчивым и беззащитным, а на носу еле заметные веснушки; и смешливые припухлые губы, и бисеринки пота на переносице. И в этот момент, оттого что она мне сказала первый раз «ты», я неожиданно для самого себя решил жениться на ней. Я подумал, что на всей громадной земле не найти мне лучше Вари. Может быть, есть девушки и красивее, и умнее, но только навряд ли, да и не нужны они мне были, мне нужна была эта. И Жеглову уступать ее я был не намерен.

А Вале, которая и думать-то не думала, что я уже выбрал ее в жены, и наверняка до упаду стала бы хохотать, скажи я ей об этом, – ей я ответил:

– Да я и не рвусь. Мне не трудно...

– А командовать другими не хочется? – улыбнулась она, и я снова подумал о том, как нравятся женщинам мужчины-командиры, начальники, говоруны и распорядители; и еще я подумал о том, как трудно объяснить женщинам, что если ты в девятнадцать лет становишься командиром ста двадцати трех человек, которые вместе называются ротой, и от твоей команды зависит, скольким из них вернуться из боя, то спустя некоторое время не больно охота чувствовать себя командиром и много приятнее отвечать только за себя.

Из всех командиров, которых мне довелось увидеть на фронте, настоящими были только те, кто ощущал свою власть как бремя ответственности, а не как право распоряжаться...

– Не хочется! – сказал я совершенно честно. Ей-богу, совсем не хотел я тогда никем командовать.

– Забавный ты человечек, – сказала Варя.

Я пожал плечами:

– Вот окончите свой институт, пойдете в школу – накомандуетесь.

– Я хочу в детский дом идти после института – там интересней. И школа, и семья сразу...

Жеглов крикнул нам:

– Разговорчики в строю! Команды «вольно» не было! Шашки к бою, лопаты в грунт!

– Ты лучше насчет обеда иди узнай, – сказал я ему.

Перерыв на обед сделали около часу дня. Задымили костры. Располагались группами, доставали из сумок провизию и немудрящую посуду. Жеглов ходил считать мешки Мамыкина и вернулся довольный. В котелках булькала картошка, особенно красивые, ровные клубни засунули в жар. Разложили на газетах харчи. Жеглов достал бутылку водки, лихо – о каблук – вышиб пробку, сказал:

– Сейчас мы ее отведаем, злодейку, которая и в тени сорок градусов...

Тогда Коля Тараскин вытащил откуда-то еще одну бутылку с чуть желтоватой жидкостью, протянул Жеглову:

– Ну-ка, махнем и этого зелья – оно, как говорится, прошло огонь, воду и медные трубы!

Пасюк радостно потер огромные свои ладони-лопаты:

– Ох, братцы, люблю я домашнюю горилку...

Жеглов протягивал Вале алюминиевую кружку, в которой плескалась горькая прозрачная жидкость, а она смешно качала головой и говорила:

– Не-а! Не-е...

– Ты немножко выпей – только на пользу. И монахи приемлют! – говорил Жеглов, а она смотрела на него прищурясь, улыбалась:

– Вы, товарищ капитан, сейчас похожи на настоящего пиратского капитана...

Жеглов вздернул бровь и подбоченился.

– ...когда он угощает туземцев «огненной водой», – закончила Варя серьезно, и мне показалось, что Жеглов рассердился, а Варя подошла ко мне, присела рядом, взяла из моих рук кружку и пригубила слегка:

– За твое здоровье!..

К вечеру, когда солнце уже повисло на острых верхушках черно-зеленого ельника, показлся на дороге «фердинанд», раскачивавшийся неуклюже на ухабах, словно Копырин заправлял его не бензином, а самогоном. За ним держались в кильватере два хозотдельских грузовика.

– Отбой! – скомандовал нам Жеглов, а Мамыкин со своей делянки кричал, что копать надо до темноты: они все-таки на несколько мешков отстали.

– Хоть до утра! – предложил Жеглов. – Правда, нам уже копать нечего – разве что вам подсобить!

И тут я впервые за весь день почувствовал, что притомился немного – с отвычки ломило спину и горели ладони.

Считали мешки. Мамыкин с Жегловым препирались: Мамыкин говорил, что у нас они меньше, чем у них, Жеглов предлагал рассыпать мешок и пересчитать картофелины. Потом быстро и весело загрузили мешки в машины, собрали свои вещички, а Копырин все еще недовольно ходил вокруг автобуса, пинал ногами колеса и бубнил, что так никаких амортизаторов не напасешься. Потом машины заурчали и поползли к дороге, а мы всей толпой отправились на станцию.

Поезд был переполнен, и Варю со всех сторон прижимали ко мне, и никогда еще толчея вагона не была мне так сладостна, потому что не видно было моих нелепых валенок, а только Варины глаза, зеленый и серый, светили прямо перед моим лицом, и что-то говорила она мне, а я ничего не понимал и отвечал невпопад, потому что этот старый, набитый людьми, завывающий вагон бросил мне ее в объятия бездумно и щедро, как только может это сделать судьба, и, оглохнув от счастья, я прижимал ее к себе, и каждой своей мышцей, каждым кусочком кожи я чувствовал ее теплое и упругое тело, и бешено кружилась голова от близости ее полных мягких губ и влажно мерцающих крупных зубов...

На Ярославском вокзале кипящая толпа вышвырнула нас из вагона, и я крикнул жегловской голове, крутящейся неподалеку в водовороте:

– Держи, Глеб! – И кинул ему ключ от квартиры.

– А ты? – Голова Глеба вынырнула на аршин из половодья баулов, корзин, лопат, мотыг и даже одной сетки с живым петухом.

– Я позже буду...

На Комсомольской площади мы сели с Варей в трамвай «Б», и она показала мне в окно:

– Смотри, Володя, впервые после войны...

Над крышей вспыхнула и неровным голубым светом забила неоновая огромная надпись: «Ленинградский вокзал», и мне почему-то показалось это добрым знаком.

Кружил нас по всему городу трамвай, громяхая по железным вензелям рельсов, и, когда мы сошли на Палихе, последняя теплая осенняя ночь уже наступила, и мне не хотелось думать ни о каких делах, и никакие страсти больше меня не терзали, но одна мыслишка все время не давала покоя, и я спросил Варю хитро:

– Правда, Жеглов удивительный мужик?

Ничего она не ответила и только, когда вошли в ее парадное, сказала, будто все это время раздумывала над моим вопросом:

– Умный парень. Молодец... – Интонация странная у нее была, но не успел я опомниться, как она открыла дверь. – Запомни мой телефон... Будет время – позвони...

В небе носились ошалевшие звезды, крупные и холодные, как неупавший град. Ветер поднимал с тротуаров обрывки газет и палые листья, и я гонялся с ними наперегонки, пел и разговаривал сам с собой и до самого дома шел пешком, забыв, что еще ходят трамваи. И все еще прикидывал и раздумывал, нравится ей Жеглов или нет, а когда вошел в комнату, он спал, накрывшись одеялом с головой и забыв погасить свет...

Сторожа убили в подсобке. Система охраны большого магазина была такова, что сторожа оставляли на ночь в помещении и он находился там до утра, когда магазин открывался. «Магазин длинный, его пока снаружи обойдешь, в десяти местах могут влезть, со двора в первую очередь», – объяснила заведующая, невысокая щуплая женщина в синем драповом пальто с чернобурой лисой-воротником. Жила она по соседству и прибежала на шум, поднятый бригадиром сторожевой охраны, который как раз проверял объекты на Трифоновской и заподозрил неладное, когда сторож на неоднократные звонки в дверь не отзывался. А сейчас ее била крупная дрожь, и она старательно отворачивала взгляд от щуплого тела сторожа, лежавшего на полу, около ряда молочных бидонов, и все старалась объяснить, почему сторож находился внутри магазина, как будто в том, что его убили именно внутри магазина, а не на улице, была ее вина. Пока судмедэксперт, следователь и криминалист колдовали около тела, Жеглов, я и заведующая поднялись в торговый зал. Прилавки, полки за ними, проходы были завалены товарами, денежный ящик в кассе взломан, а на беленой стене обувного отдела толстым черным карандашом, а может быть, и углем была нарисована черная кошка. Очень симпатичную кошку нарисовали бандюги – уши торчком, глаза зажмурены, и она облизывалась узким длинным языком. А на шее у нее, как на картинках в детских книжках, был пышный бант. Жеглов покачал головой, поцокал языком, и было непонятно, чем он больше недоволен – разбоем или этим наглым рисунком, которым бандиты будто хотели показать милиции, что нисколько они нас не боятся, плевать на нас хотели и гордятся своей работой.

– Слушай, Глеб, а для чего же все-таки они это делают? – Я показал на рисунок. – Я так соображаю, что их найти по этой кошке полегче будет, они ведь от остальных грабителей отличаются?

– Оно вроде и так, – пожал плечами Жеглов. – Но здесь можно по-разному прикидывать. Может, они выпендриваются от глупой дерзости своей, не учены еще в МУРе и думают, что сроду их не словят. Может, и другое, похуже: все соображают, но идут на риск, чтобы на людей ужас навести, понимаешь, силы к сопротивлению их лишить – раз, мол, «Черная кошка», значит руки вверх и не чирикай, а то хуже будет!

– Но это если бы они среди частных, так сказать, граждан шуровали, – возразил я. – А они все больше по магазинам...

– Во-первых, не имеет значения, среди граждан или в магазине. Завтра пятьдесят продавцов да подсобных из этого магазина по всей Москве разнесут, что «Черная кошка» человека убила и на миллион ценностей здесь взяла. Реклама! А во-вторых, раньше «Черная кошка», до тебя еще, как раз больше по квартирам шарил; это теперь они начинают чего-то по базам да магазинам распространяться. Вообще-то, оно выгодней...

Я еще раз посмотрел на нарисованную кошку, и мне вдруг показалось, что она ехидно подмигнула. Непонятно, по какой линии это навело меня на новую мысль, и я поспешил поделиться с Жегловым:

– Слушай, Глеб, а ведь может быть и еще похуже – для нас, во всяком случае...

– Да?

– Если среди блатных найдутся не такие дерзкие и нахальные, как эти, а, наоборот, похитрее, они ведь под бирку «Кошки» могут начать работать. Мы, как помнишь, с Векшиным-то, кое на какие следилки начинали выходить, а хитрые – в другой стороне. И концы в воду!

– Не бойсь! – Жеглов потрепал меня по плечу. – От нас все равно никуда не денутся. С такими-то орлами, как ты! Что ты! Конечно, если мы будем работать, а не теории здесь разводить...

Подсобка была непростая, целый, как выразился Жеглов, шанхай: в ней требовалось размещать товары большого смешторга – сиречь магазина, торгующего товарами смешанного, промышленного и продуктового, ассортимента. Чего только не было навалено в нескольких

больших цементированных боксах с гладкими оштукатуренными стенами! Масло, мука, сахар и другие запахнувшие вещи были строго отделены от предметов пахучих – колбас, специй, рыбы, бочек с селедкой. Отдельно размещались промтовары – рулоны мануфактуры, большущий стеллаж с обувью, стопы готовой одежды. И все это сейчас являло картину хаоса и разорения – преступники искали самое ценное и в спешке вовсе не церемонились с остальным. Главным помещением и местом происшествия была приемка – продолговатая комната, соединенная с двором пологим дощатым тоннельчиком, по которому на подшипниковых тележках свозили в подвал товар. Тоннельчик выходил в приемку двойными широченными дверями, почти воротами, которые запирали изнутри накидным кованым крюком. Наверху, во дворе, тоннельчик заканчивался такими же воротами, а снаружи был здоровенный амбарный замок, навешенный на толстую железную полосу. Воры легко выворотили замок из подгнившего дерева вместе с петлями. А ворота в приемку взломали: рядом с ними валялся заточенный с одного конца карась – массивный полуметровый воровской ломик, – которым поддели одну доску двери, расщепили ее, а потом просто скинули крюк. Сейчас трудно было сказать, как попал в приемку сторож – проходил ли ее очередным дозором или, привлеченный каким-то шумом, явился посмотреть, в чем дело, – но только встретили его здесь в полутьме – сейчас для осмотра и фотографирования вместо тусклой складской лампочки Гриша специально ввернул сильную, стосвечовую. Сторожа ударили сзади топором по голове и, видно, сразу же убили: по брызгам крови на стене, по расположению тела эксперт уверенно определил, что беднягу как свалили с ног, так больше с места и не трогали. Можно было даже представить себе, с какого места это сделали: в боковой стене приемки был этакий аппендикс – закуток вроде кладовки, метра полтора на полтора, с толстой, обитой жестью дверью, открывавшейся наружу; из этой кладовки, скорей всего, и нанесли удар. Я еще заметил, что на клине и обухе топора есть следы побелки, и внимательно осмотрел стены и потолок кладовки. На потолке я нашел свежую, довольно глубокую борозду, – видно, убийца чиркнул топором по потолку, доставая жертву.

В приемку ворвался Абрек, за ним следом – его проводник Алимов. Наверное, они заканчивали круговой осмотр магазина. Абрек обежал комнату, наткнулся на какую-то тряпицу, взвыл и дернул Алимова на выход, в тоннельчик, дернул с такой силой, что проводник еле удержался на ногах.

– Свежий след взял! – крикнул он Жеглову. – Давай кого-нибудь со мной!..

Мне еще не приходилось видеть, как собака работает по следу, и я, глянув на Жеглова, ткнул себя пальцем в грудь. Глеб кивнул, и я помчался следом за проводником, выскочил на улицу и увидел, что тот уже пересек пустырь, пробежал мимо детской песочницы и устремляется к дровяным сараям в конце двора. Сделал я гвардейский рывок, как учил когда-то старшина Форманюк, и догнал Алимова у крайних сараев. Между ними был широкий проход в следующий двор, расположенный чуть ли не на два метра ниже первого, поэтому мы выскочили на крышу нового сарайчика с убогой голубятней на краю, и Абрек, бежавший на всю пятиметровую длину «вожжи», сделал гигантский прыжок, распластавшись в воздухе, как на картине. Алимов и я сиганули за ним, причем я чуть не свалился, зацепившись ногой за проволочную сетку голубятни. Так же резво пробежав двор, Абрек выскочил в тихий переулок, покрытый неровным булыжником, с земляными обочинами, заросшими грязной пожухлой травой. Оглядевшись, я сообразил, что это не переулок – это тупик, выходящий к товарному двору Ржевского вокзала. А собака, перебежав улочку, рванула снова во двор, застроенный все теми же сараями, выросшими как грибы во время войны; кругом были кирпичные дома с паровым отоплением, и дрова потребовались только в войну, когда пришлось людям греться индивидуально – нескладными железными печурками, жравшими уйму дров, нещадно дымившими и уродовавшими комнаты суставчатыми рукавами труб, упертых в форточки...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.